

РОБЕРТСОН ДЭВИС

18+

ЧАРОДЕЙ



Большой роман

Робертсон Дэвис

Чародей

«Азбука-Аттикус»

1994

УДК 821.111
ББК 84(7Кан)-44

Дэвис Р.

Чародей / Р. Дэвис — «Азбука-Аттикус», 1994 — (Большой роман)

ISBN 978-5-389-20438-6

Робертсон Дэвис – крупнейший канадский писатель, мастер сюжетных хитросплетений и загадок, один из лучших рассказчиков англоязычной словесности. Его «Дептфордскую трилогию» («Пятый персонаж», «Мантикора», «Мир чудес») сочли началом «канадского прорыва» в мировой литературе. Он попадал в шорт-лист Букера (с романом «Что в костях заложено» из «Корнишской трилогии»), был удостоен главной канадской литературной награды – Премии генерал-губернатора, под конец жизни чуть было не получил Нобелевскую премию, но, даже навеки оставшись в числе кандидатов, завоевал статус мирового классика. «Чародей» – последний роман канадского мастера и его творческое завещание – это «возвращение Дэвиса к идеальной форме времен „Дептфордской трилогии“ и „Что в костях заложено“» (Publishers Weekly), это роман, который «до краев переполнен темами музыки, поэзии, красоты, философии, смерти и тайных закоулков человеческой души» (Observer). Здесь появляются персонажи не только из предыдущего романа Дэвиса «Убийство и неуспокоенные духи», но даже наш старый знакомец Данстан Рамзи из «Дептфордской трилогии». Здесь доктор медицины Джонатан Халла – прозванный Чародеем, поскольку умеет, по выражению «английского Монтеня» Роберта Бертона, «врачевать почти любые хвори тела и души», – расследует таинственную смерть отца Хоббса, скончавшегося в храме Святого Айдана прямо у алтаря. И это расследование заставляет Чародея вспомнить всю свою длинную жизнь, богатую на невероятные события и удивительные встречи... Впервые на русском!

УДК 821.111

ББК 84(7Кан)-44

ISBN 978-5-389-20438-6

© Дэвис Р., 1994

© Азбука-Аттикус, 1994

Содержание

От автора	9
I	10
1	10
2	13
3	15
4	17
5	20
6	22
7	27
8	29
9	33
10	37
11	42
12	50
13	57
14	64
15	68
16	72
II	75
1	76
Конец ознакомительного фрагмента.	77

Робертсон Дэвис

Чародей

© Т. П. Боровикова, перевод, 2021

© Д. Н. Никонова, перевод стихов, 2021

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство ИНОСТРАНКА®

* * *

Робертсон Дэвис – один из величайших писателей современности.
Малькольм Брэдбери

Роман до краев переполнен темами музыки, поэзии, красоты, философии, смерти и тайных закоулков человеческой души.
Observer

Чистый восторг. Автор ведет читателей в головокружительное путешествие через 70 лет истории. Это книга, исполненная любви и мудрости, иронии и скорби.
The Boston Sunday Globe

Мудрый, человечный и неустанно захватывающий роман. Дэвис передает ощущение подлинной жизни в мире, рожденном его воображением, – мире, подчас волшебном и загадочном. Это лучший труд «одного из самых эрудированных, занимательных и во всех отношениях выдающихся авторов нашего времени».
The New York Times Book Review

«Чародей» – это возвращение Дэвиса к идеальной форме времен «Дептфордской трилогии» и «Что в костях заложено». Зоркий гуманизм, ирония и живость описания характеров, неизменно выпуклых и ярких... Замечательно смешной и острый роман, который не отпускает читателя ни на миг.
Publishers Weekly

Какое счастье – снова отдаться в руки гениального рассказчика.
Detroit Free Press

Эрудицию, остроумие и литературный талант Дэвиса уже давно отмечают все рецензенты, но его чародейство в художественном смысле этого слова достигает в романе новых высот.
The Dallas Morning News

Дэвис творит нечто вроде грандиозного оперного действия в прозе, полного знаковых характеров, архетипических сюжетных ходов, прочувствованных арий и виртуозных словесных поединков.
The Washington Post Book World

Изысканность, остроумие и высочайшая серьезность – смесь, приготовленная руками мастера.

The Cleveland Plain Dealer

Движители этой истории про необычного доктора и его друзей – всеобъемлющая энергия и острый глаз писателя, подмечающий красноречивые детали. Умело сплетенный, затейливый, захватывающий рассказ.

San Francisco Chronicle

Неотразим и полон жизненной силы. Всем своим сердцем и всем своим острым умом Дэвис отдает должное Великому Театру Жизни.

Sunday Times

Изумительное достижение. Блистательный роман, от которого невозможно оторваться – и одновременно философское размышление о жизни как занятии. Мне давно не попадалось такой отличной книги.

Financial Times

Верные поклонники Дэвиса немедленно распознают его страсть к фантастическому и языковой экзотике, коллекционерскую одержимость историческими анекдотами, привычную опору на фольклор и народную мудрость.

Observer

Голос Дэвиса узнается сразу, его манера неподражаема. О этот хитрый всеведущий рассказчик с насмешливым прищуром!..

Houston Chronicle

Первоклассный рассказчик с великолепным чувством комического.

Newsweek

Канадский живой классик и виртуоз пера.

Chicago Tribune Books

Робертсон Дэвис всегда был адептом скорее комического, чем трагического мировоззрения, всегда предпочитал Моцарта Бетховену. Это его сознательный выбор – и до чего же впечатляет результат!

The Milwaukee Journal

Невероятно изобретательно, сюрпризы на каждом шагу.

The Wall Street Journal

Высокая драма, полная гордости, интриг и страсти.

The Philadelphia Inquirer

Кем Данте был для Флоренции, Дэвис стал для провинции Онтарио. Из историй жизни этих людей, с их замахом на покорение небесных высот, он соткал увлекательный вымысел.

Saturday Night

Психологизм для Дэвиса – это все. Он использует все известные миру архетипы, дабы сделать своих героев объемнее. Фольклорный подтекст

необъятен... Причем эта смысловая насыщенность легко воспринимается благодаря лаконичности и точности языка.

Книжное обозрение

Дэвис является настоящим мастером в исконном – и лучшем – значении этого слова.

St. Louis Post-Dispatch

* * *

Посвящается Бренде и нашим дочерям Миранде, Дженифер и Розамонде

От автора

С глубокой благодарностью отмечаю, что я в долгу у доктора Ричарда Дэвиса за консультации по определенным медицинским вопросам. Я также благодарен Мойре Уортон за то, что она привела в порядок хронологию повествования.

Все ошибки, однако, сделаны мною собственноручно.

Единственный в книге портрет, написанный с натуры, – портрет города Торонто. Все прочие персонажи вымышлены, и любое их сходство с ныне живущими или когда-либо жившими людьми непреднамеренно.

* * *

Чародеи, знахари и белые ведьмы, как их называют, есть в каждой деревне и готовы, если к ним прибегнут, врачевать почти любые хвори тела и души... Как доказал Платон, болезни тела коренятся в душе; и, не утолив сперва душу, нельзя излечить тело.

Роберт Бертон. *Анатомия меланхолии* (1621)¹

¹ Здесь и далее, если не оговорено иное, прозаические цитаты даны в переводе Т. Боровиковой.

I

1

Следовало ли мне забрать вставные челюсти? Когда я работал полицейским врачом, я бы непременно так и поступил: кто знает, что могло застрять между зубами или забиться в щели? Я был бы в своем полном праве. Но в той необычной ситуации – какими неоспоримыми правами я располагал?

Начнем с того, что я был уже не полицейским врачом, а просто врачом; в первую очередь, надо думать, диагностом – как частнопрактикующим, так и преподавателем медицинского факультета (по предмету «Диагностика»). Таким образом, я оказался случайным, но компетентным свидетелем того, как бедный старый священник отец Хоббс скончался прямо у алтаря Господня в храме Святого Айдана утром Страстной пятницы. Когда он упал, я рванулся вперед – инстинктивно, как пожарная лошадь при звуках колокола. Я был еще молод и не знал, что врач не должен торопиться ни при каких обстоятельствах. Когда Чарли махнул рукой, отгоняя меня, и зашипел: «Это алтарь, сюда нельзя. Я все сделаю», я не хотел настаивать на своих правах (или, во всяком случае, привилегиях) врача. Чарли же отстоял свои права как священник, и это меня задело, но я не хотел ввязываться в словопрения. Мы были служителями двух конкурирующих культов: он – слуга Бога, я – слуга Науки, и в данных обстоятельствах я считал свое священство равным по значимости, если не более важным. Но я не хотел показаться обидчивым или поссориться из-за мелочи. Мы находились в церкви, верные только начали подходить к причастию, и умирающий упал внутри алтарной ограды. Видимо, я решил, что Чарли находится на своей территории и его право следует уважать. Что это было – рыцарственное отношение к слабому или высокомерие по отношению к низшему существу? Думаю, и то и другое.

Возьми я тогда челюсти, история, которую сейчас пытается выудить из меня эта молодая журналистка, была бы абсолютно другой. Более захватывающей? Не знаю. Но я совершенно определенно не собирался рассказывать мисс Эсме Баррон из газеты «Голос колоний» все, что мне известно. Если я оставлю кое-какие заметки в своем врачебном журнале, который веду через пень-колоду, их кто-нибудь найдет после моей смерти. Найдет много больше, чем просто «кое-какие заметки», но когда я это писал, то еще не знал, насколько рассказ меня захватит. Я не собирался изливать душу этой очень привлекательной, тактичной молодой женщине, которой не доверял ни на грош.

Она задала вопрос. Надо отвечать.

– Да, я подписал свидетельство о смерти. Я осмотрел тело, как только его вынесли в ризницу.

– Кто его вынес?

– Двое диаконов, которые прислуживали в алтаре во время мессы.

– Что такое «диакон»?

– Нечто вроде кандидата в священники. Низший священнический чин в англиканской церкви. Диакон стоит на пути к рукоположению и определенным образом участвует в службах, но не может совершать евхаристию или благословлять прихожан. И исповедовать не может, а принимать исповеди в приходе Святого Айдана было нелегкой работой.

– Это так называемая Высокая церковь?

– Очень высокая. Настолько высокая, насколько мог вытерпеть архиепископ. Литургия преждеосвященных даров утром Страстной пятницы – признак очень высокой церкви.

– Вы считаете, это было смело?

– Ну, если вы считаете, что возродить церемонию девятого века в Торонто в тысяча девятьсот пятьдесят первом году было смело, то да. Не сказать, чтобы наш город уходил корнями в Средние века.

– Что это за церемония? Очень пышная?

– Как сказать. Она так называется потому, что хлеб и вино для причастия готовят и освящают накануне ночью и хранят в боковой часовне. Это была особая служба, приуроченная к Страстной пятнице, и к девяти утра в храме собрались все силы прихода: хор наверху, знаменитый доктор Декурси-Парри у органа и хор перед алтарем для григорианских песнопений, с регентом – скандально знаменитым Дарси Дуайером, облаченным соответственно важности случая. Литургию служил всеми любимый старый священник отец Ниниан Хоббс, а сослужил ему отец Чарльз Айрдейл, которого я хорошо знал. В храме присутствовали почти двести человек...

– Что это за люди? Кто были прихожане?

– Самые разные. Смесь, типичная для Святого Айдана. Одни явно обеспеченные, другие явно бедные; от англосаксов до чернокожих – последних в приходе Святого Айдана было много, так как туда ходили грузчики с железнодорожного вокзала. Время от времени кое-кто из них прислуживал в алтаре во время литургии, и тогда некоторые прихожане отпускали шуточки насчет «черной мессы». Юмор в духе прихода Святого Айдана – ладан, припахивающий порохов. Еще на той службе присутствовали девять монахинь из ордена Святого Иоанна – поблизости располагались их монастырь и школа. О, приход Святого Айдана был очень сплоченным, а также весьма влиятельным, поскольку притягивал людей из всех районов города. Епархиальные власти...

– Что-что?

– Епископ и подчиненные ему священники, которые управляют церковным округом, епархией. Святой Айдан был для них жалом в плоть, поскольку от него прямо-таки разило Римом...

– Разило Римом? Что это значит?

– Мисс Баррон, если я буду вынужден читать вам лекции по азам истории церкви, мы никогда не закончим. Вы в курсе, что англикане – протестанты? Ну разумеется. Но в англиканстве есть одна ветвь, которая настаивает, что она – католическая церковь во всех смыслах этого слова, только не признает верховенства «римского епископа». Кое-кто придерживается белыми нитками шитого убеждения, что эта ветвь ведет свое начало от доавгустинской кельтской церкви в Британии...

– Да, я понимаю. Я, вообще-то, не глупа. Но среди моих читателей много таких, которые ничего этого не знают, поэтому мне приходится писать доступно и интересно. Так каким образом Рим мог проникнуть в англиканскую церковь в Торонто?

– Традициями, которые сами по себе не очень важны, но в общей массе значимы. Например, то, что священников называют «отец такой-то», литургию – мессой, кланяются и крепятся во время службы, кадят ладаном и... ну, масса всего...

– Да-да, поняла. Но я хотела бы вернуться к моменту, когда старик умер. Расскажите, что в точности произошло.

– Казалось, все на мази. Поскольку Святые Дары были приготовлены накануне, их внесли в алтарь торжественной процессией после Поклонения Кресту, которое сопровождалось дивным григорианским песнопением. Много кадили. Потом отец Хоббс произнес молитвы перед причастием, взял выложенную специально для него гостию, поднял перед собой для всеобщего обозрения, положил в рот... у него сделался какой-то странный вид, и он рухнул. Айрдейл долю секунды не двигался – вероятно, сначала решил, что старик просто преклоняет колени. Но ведь это делают до того, как взять гостию. Забыл по старости лет? Но тут же стало ясно,

что священник упал. Отец Айрдейл и диаконы бросились к нему, приподняли – но я видел, что он уже мертв.

– Так быстро?

– Я бы сказал, что прошло не больше десяти секунд.

– А откуда вы знаете, что он был уже мертв?

– У меня большой опыт. На войне и полицейским врачом. Научился узнавать по виду.

Что-то отлетело.

– Как бы вы это определили?

– Именно в таких словах. Душа отлетела.

– Душа?

– Вы, кажется, удивлены.

– Да. Вы врач – и говорите о душе.

– Именно так.

– Я слыхала, что доктор Розвир, который работает в Центральной городской больнице, выразился так: «Я оперировал больше тысячи пациентов и ни разу не видел ни у одного из них внутри чего-либо похожего на душу».

– Знаю. Я тоже слышал, как он это говорит.

– Но вы бы так не выразились?

– Нет, я бы так не выразился.

– Вероятно, именно поэтому вы оказались в храме в тот день, когда старый отец Хоббс скончался в алтаре.

– Частично.

– Частично?

– Не будем в это вдаваться.

– Хорошо. Когда мне можно прийти снова?

– А когда вам нужно закончить статью?

– Это не к спеху. Нас несколько журналистов, мы работаем над серией «Торонто, которого больше нет». Мне бы хотелось прийти к вам еще несколько раз, если можно.

– Можно.

– Но прежде чем я уйду, скажите... Я пытаюсь выведать подлинную историю этой смерти, потому что потом ведь шли разговоры о канонизации, верно?

– Позвольте, мы оставим это на следующий раз? Я слышу, что у меня в приемной пациент.

Я проводил мисс Баррон к выходу, снова мучаясь вопросом: следовало ли взять вставные челюсти? Чарли Айрдейл настаивал, чтобы я тут же, на месте, выдал свидетельство о смерти, но, конечно, я не ношу с собой этих бланков. А раз мне все равно пришлось вернуться к себе в клинику, я мог бы и челюсти прихватить, провести несколько стандартных анализов – посмотреть, не прояснят ли они причину смерти. Но вышло так, что я не настаивал. А когда один из диаконов позвонил с напоминанием, я мог бы отослать в священнический дом при церкви и свидетельство о смерти, и зубы, указав в графе «причина смерти» остановку сердца. Ведь смерть человека всегда так или иначе наступает от остановки сердца.

Если у меня и были какие-то сомнения, вскоре они развеялись.

2

Мне следует быть очень осторожным с мисс Эсме Баррон. Не хочу сказать, что подозреваю ее в нечестности, но ей, как всем хорошим журналистам, свойственно неустанное любопытство. Она виртуозно владеет техникой перекрестного допроса – такого мастера я даже в суде не встречал. Я много раз выступал на суде в качестве эксперта, особенно когда работал полицейским врачом, и знаю, что юристы обычно действуют исподволь, даже если у них это плохо получается. Но журналисты вроде Эсме не действуют исподволь: они задают вопросы в лоб, интересуются самым сокровенным, выбивают из колеи и сразу замечают, если допрашиваемый пытается юлить. Они прицепятся к какому-нибудь моменту, который вы как раз пытаетесь обойти; они неумолимы, а если вы не захотите отвечать на вопрос, вас обвинят в сокрытии фактов.

Но я по-своему хитер не меньше, чем мисс Баррон. Мне надо многое скрыть, и я это скрою. Я подкину ей другие лакомые кусочки, чтобы она не стала раскапывать неприятную историю, которая развернулась после смерти отца Хоббса.

Но ведь прошло уже много лет; кого волнует старый священник, упавший замертво на мессе? Я прекрасно знаю ответ на этот вопрос: если мисс Баррон состряпает блюдо с жареными фактами, заинтересуется вся ее читательская аудитория – тысячи людей. Мисс Баррон стойко защищает то, что называет «правом граждан на информацию», – иными словами, свое личное право раструбить на весь свет то, что произведет сенсацию или вызовет нездоровый интерес публики. Но люди моей профессии клянутся хранить тайну – совсем как священники.

Об этой серии статей – «Торонто, которого больше нет» – я узнал раньше мисс Баррон. Идея принадлежала ее начальнику, а ее начальник – мой крестный сын Коннор Гилмартин. Еще он ее любовник – или она его любовница: в таких делах никогда не знаешь всей подноготной. Он отдает ей самые интересные статьи серии: по логике вещей статью о церкви и приходе Святого Айдана должны были поручить религиозному редактору (двусмысленное выражение) той же газеты Хью Макуэри, с которым я хорошо знаком и который справился бы с этой задачей намного лучше. Я точно помню: именно Хью, когда мы заговорили об этой серии статей, сказал, что околоток Святого Айдана принадлежит или принадлежал к числу интереснейших «деревень» Торонто и его следовало бы хорошенько изучить и описать.

Идея «деревень» сначала возникла у мэра Торонто, одного из лучших мэров за всю историю города. Он сказал, что Торонто особенно интересен среди других городов Северной Америки, поскольку состоит из нескольких «деревень» – китайской, итальянской, португальской, арабской, тайваньской и многих других, не говоря уже про общину ортодоксальных евреев, о которых большинство горожан мало что знают. Все эти общины живут в более-менее четко очерченных районах со своими магазинами, своими местами сборищ, иногда – собственными газетами; члены общин вместе приглядывают за соседскими детьми, вместе соблюдают обряды своей религии, вместе заботятся о стариках. И благодаря этому насильственные преступления в таких общинах происходят намного реже, чем могли бы.

Представление мэра о Торонто было верным – если не полностью, то по большей части. «Голос колоний» хотел писать с этой точки зрения и продвигать ее. Обсудить, как возникли эти «деревни» и как сохраняется их своеобразие среди иммигрантов второго и третьего поколения.

Околоток Святого Айдана был интересен как, возможно, единственная сохранившаяся англосаксонская или англо-кельтская деревня, в сердце которой – большой и активный церковный приход.

Эсме упомянула разговоры о канонизации. В самом деле, такие разговоры шли, и я собирался приложить все силы, чтобы направить их в нужное русло, если они опять начнутся. Хотя бы это я мог сделать для своего бедного старого друга Чарли Айрдейла, который принес нево-

образимо огромную, в его понятиях, жертву, чтобы канонизация состоялась. Но надо быть предельно осторожным, ведь Эсме – далеко не дура.

3

– Надо полагать, теперь я должна звать вас «дядя Джек».

– Пожалуйста, не надо. Мое имя Джонатан, и я никогда не использовал уменьшительных. Это совершенно не в моем характере. Если уж так хочется, называйте меня «дядя Джон».

– Нет, не буду, если этого не хочется вам. Я не хочу быть слишком фамильярной. Но мне показалось, что «доктор Халла» звучит слишком официально, раз я замужем за Гилом.

– Не надо меня называть никаким дядей. Зовите меня Джон, а я буду звать вас Эсме.

С тех пор как Эсме Баррон в последний раз сидела на стуле пациента у меня в консультационной, произошло очень многое. У меня не кабинет, а консультационная; почему – скажу вам во благовремении. Эсме и мой крестный сын Коннор Гилмартин поженились, причем венчались в церкви, что меня удивило, – мне казалось, что Гил с годами отошел от религии. Свадьба была не шумная, гостей немного. Присутствовали родители невесты – непримечательная пара откуда-то с запада провинции Онтарио; я так понял, что у них там большой участок земли и теплица, где они растят овощи на продажу. Супруги были явно не в своей тарелке: жена кругленькая, как бочонок или ноль, в бифокальных очках и серых чулках; муж маленький, подтянутый, что неудивительно для садовника, и явно в своем лучшем костюме – судя по виду, неуничтожимом, из серой материи, похожей на гофрированное железо крыши. Родители Гила – профессор Брокуэлл Гилмартин и профессор Ньюэла Гилмартин из университета Уэверли, мои старые друзья и много больше чем друзья. Больше не было никого, только Хью Макуэри, шафер Гила, с обычной гримасой отчаяния на лице (обманчивой), и молодая женщина, чьего имени я не уловил, – подружка невесты. Впрочем, судя по виду невесты, она не нуждалась и никогда не будет нуждаться ни в каких подружках и замечательно может сама за себя постоять. Однако выглядела она прекрасно – Эсме вообще красива, да и плоха та невеста, которая не может прихорошиться в свой торжественный день. Белое платье Эсме надевать не стала. Умница.

Я присутствовал на свадьбе в роли всеобщего друга, а также врача на случай, если Гил упадет в обморок у алтаря, – судя по виду, это не исключалось.

А теперь Эсме вернулась ко мне в консультационную и к своей задаче – раскопать все, что можно, интересного и красочного о «деревне», окружающей церковь Святого Айдана.

– Канонизация, – напомнила она. – Что имелось в виду?

– О, всего лишь мелкое местное начинание. Отец Хоббс был очень популярен. Даже более того. Его любили. Потому что он был очень добродетелен, понимаете?

– В каком смысле добродетелен?

– Почти не отапливал свой дом – он жил при церкви. Одевался исключительно в ветхие облачения, которым было уже лет тридцать. Ужасно питался и ожидал от всех священников, живших вместе с ним в церковном доме, того же самого. Отдавал бедным все свои деньги, до последнего гроша. Впрочем, в наше время это невозможно. Скажем так, отдавал до последнего гроша все деньги за вычетом тех, на которые наложило лапу государство, и тех, что нужны были на самое необходимое. Зимними ночами он бродил по территории прихода – по темным проулкам – в поисках бродяг, которые спьяну упали куда-нибудь спать и могли замерзнуть насмерть. Он то и дело приводил кого-то из них домой и укладывал в собственную постель, а сам спал на диване – а уж диван в доме при церкви был дыбой, которая испытала бы терпение даже у святого. Время от времени возникали нехорошие слухи из-за того, что отец Хоббс был очень щедр к проституткам, которым временно не везло. Он заставлял их более процветающих сестер скидываться и выручать их. Он уговаривал проститутку приходить к нему на исповедь; они приходили и очищались духовно. Он с ними шутил, и они его обожали. Видели бы вы, сколько проституткок собралось на его похороны! Он нажил себе неприятности, потому что

не заботился о храме: раздавал бедным деньги, выделенные на отопление, починку крыши и замену электрических лампочек... Конечно, раз священник подавал такой пример, прихожане тоже не скупились. Приход Святого Айдана был небогат по любым меркам, но люди проявляли удивительную щедрость перед лицом Хоббса, потому что он сам никогда себя не щадил. Отец Айрдейл лез из кожи вон, чтобы поддерживать храм в приличном состоянии; многие прихожане помогали – жертвовали облачения для алтарников и священства, оплачивали немаленькие счета за свечи, чтобы службы выглядели красиво и торжественно. Опять-таки проститутки обожали платить за ладан. Проститутки, знаете ли, бывают очень набожными. В их профессии без религии не обойтись. В общем, каждый вносил свою лепту. Декурси-Парри, который заведовал музыкой, мог бы в любом другом месте получать вдвое большее жалованье, но он обожал атмосферу Святого Айдана и добился того, что хор и орган там были лучшие в Торонто. Дуайер работал самоотверженно – а если вы знали Дуайера, то знаете также, что у него было очень много «себя», которое приходилось отвергать, – потому что он обожал григорианские песнопения и тонкости ритуала. В целом атмосфера прихода потрясала... Поэтому неудивительно, что, когда бедный старый отец Хоббс умер на глазах у своих прихожан, у подножия священного алтаря – истинного стола трапезы Божией, – его объявили святым и хотели по этому поводу что-нибудь сделать.

– Так что же они сделали?

– А делать было нечего. Епископ послал одного из своих архидиаконов, и тот произнес проповедь, в которой подробно объяснил, что англиканская церковь больше никого не канонизирует, хотя это ничуть не умаляет величия святых, просиявших до Реформации. Типичное для англиканской церкви желание сидеть на двух стульях. И через некоторое время все стихло.

– А я слышала другое. Я слышала, что был большой шум и даже разговоры о чудесах. Разве епископу не пришлось принимать серьезные меры?

– О, люди обожают преувеличивать в подобных делах. Поверьте мне на слово, то была буря в стакане воды. Я при этом был, я знаю.

– Но ведь епископ выгнал Айрдейла из прихода?

– Боже мой, нет, конечно! Отца Айрдейла через некоторое время перевели в другой приход, в северной части этой огромной епархии. Я полагаю, епископ хотел дать Чарли отдохнуть после чересчур накаленной атмосферы Святого Айдана.

– Джон, тут где-то зарыта собака. Надеюсь, собака – это не вы?

– Никоим образом. Но у меня память как хороший холодильник, а это нечасто встречается.

– Вы ведь хорошо знали Айрдейла, верно?

– Ну... Мы вместе учились в школе.

4

Вместе учились в школе. Все, что я рассказываю Эсме про Чарли, фильтруется через этот факт. Еще все, что я рассказываю Эсме, фильтруется через факт покрупнее – мою личность: я – Джонатан Халла, доктор медицины, член Королевской коллегии врачей, авторитет в области не поддающихся лечению и хронических болезней, а также – из-за моих методов – подозрительный тип в глазах некоторых коллег. Все, что я рассказываю Эсме, коренится в моем детстве, в совокупности того, что я собой представляю и что испытал. Понимает ли она это? Она ни в коем случае не дура; наоборот, у нее весьма острый ум. Но как журналистка и интервьюерша она ныряет не слишком глубоко, опасаясь поднять со дна ил и замутить прозрачность материала, который в конце концов напишет для своей газеты. Во мне есть глубины, которых Эсме никогда не измерить, – впрочем, я полагаю, что она и не стремится. Но эти глубокие омуты могут крыться под любыми моими словами. И я должен их до некоторой степени исследовать в повествовании, которое заносу в свой журнал.

Интересно, много ли интервьюеров хотя бы приблизительно представляют себе, насколько сложна личность интервьюируемого? Неужели они в самом деле считают то, что им удастся извлечь на допросе, «всей правдой»? Лучшие – разумеется, нет. Эсме неплохая журналистка, но она превыше всего жаждет ясности, а человеческой душе ясность несвойственна.

То, что я расскажу Эсме, будет правдой – в пределах того, что я ей расскажу. Но что касается настоящей истории, которую она пытается разнюхать с энергией терьера-крысолова, мой рассказ не покроет и половины того, что мне известно.

Мои слова коренятся в моей личности, во всей ее совокупности. Итак... мы с Чарли вместе учились в школе.

– Гилмартин!

– Здесь!

– Халла!

– Здесь!

– Айрдейл!

– Здесь!

– Все новенькие? Боже, до чего докатилась эта школа! Ну и имена! Гилмартин! Халла! Айрдейл! Раньше в эту школу допускали только белых! Откуда вы, засранцы?

– Солтертон, – сказал Гилмартин.

– Солтертон, – сказал Айрдейл.

Я промолчал.

– Ну, Халла? Откуда ты приехал?

Загнанный в угол, я ответил:

– Караул Сиу.

– Сроду не слышал. Где это?

– В Северном Онтарио.

Допрашивал нас кусок дьяволова говна – дежурный префект школы, – в ходе переключки на линейке в половине пятого; его фамилия была Солтер. Солтер Л., поскольку мальчики в Колборн-колледже не носили имен: только фамилии и инициалы.

– Караул Сиу! До чего мы докатились?! – произнес Солтер с напускной горечью. И продолжил переключку. Но нас, троих новеньких, – Брокуэлла Гилмартина, Чарли Айрдейла и меня – уже объединило взаимное сочувствие. Мы все трое были «небелые», по определению троглодита Солтера, и с того часа стали друзьями.

Я нуждался в друзьях. Я не пробыл в Колборн-колледже и двух суток, но уже понял, что все остальные мальчики приходятся друг другу двоюродными или троюродными братьями и

все они от рождения тори. У меня родственников в школе не было, и мои родители всегда придерживались либеральных воззрений. В то время в Канаде политическая и религиозная принадлежность были даже важнее, чем родственные связи и знание, у кого сколько примерно денег. Я чувствовал себя полным сиротой, видел себя абсолютным ничтожеством, но это скоро кончилось. Солтер во всеуслышание объявил, что я происхожу из никому не известного места под названием Караул Сиу, несомненно – жуткой дыры, и меня тут же прозвали маленьким дикарем, обитателем лесов.

Надо мной смеялись, потому что я произнес «Караул Сиу» с такой интонацией, будто кричал в ужасе; я никогда не слышал, чтобы это название произносилось по-другому. Такое произношение осмысленно, ибо Караул Сиу был точкой, где индейцы оджибве в течение многих веков высматривали приближение своих врагов с юга, сиу, и давали им отпор. Отсюда название: Караул Сиу. Почему бы нет?

Колборн-колледж был отличным образовательным учреждением. Конечно, это не значит, что он был удобным и приятным местом. За долгие годы, прошедшие с тех пор, педагоги-энтузиасты, несмотря на огромные усилия, так и не смогли создать школу, которая была бы чем-то отличным от школы, то есть тюрьмы, где заключенные получают образование. С самого начала образовательные учреждения задумывались для того, чтобы дети не путались у родителей под ногами. В наше время школы наряду с этим выполняют еще важную экономическую задачу: не пускают молодых здоровых людей на рынок труда. Но устроена школа так, что лишь непреходимый тупица может войти с одного конца и выйти с другого, не усвоив абсолютно ничего.

В Колборн-колледже мы учились не только школьным предметам, но и сложным маневрам, необходимым для жизни в обществе; мы научились уважать старших и тех, кто считался высшими, и приобрели определенную мудрость – неглубокую, но полезную. Мы научились гнуться, а не ломаться. Научились принимать в жизни и розы, и шипы. Научились не скулить и не требовать привилегий, которые были нам не по плечу. Мы нашли место, которому, вероятно, предстояло стать нашим местом в мире, и приноровились к нему. А самое главное, мы научились искусно скрывать свою подлинную природу. В Колборне ты мог быть художником, эстетом, философом, фашистом или мошенником – и лишь немногие прозревали твою подлинную суть.

Именно к этому важному предмету – хитрости и умению ее скрывать – у меня уже была некоторая склонность. И, прибыв в Колборн, я стал искать ее в других и мгновенно нашел в Чарли Айрдейле и Брокуэлле Гилмартине. Нашей странностью и чертой, которую мы скрывали, было то, что мы уже знали свое предназначение.

Подавляющее большинство мальчиков, похоже, считали, что какой-то жизненный путь откроется им после окончания школы – университет или военное училище; но пока они не особо задумывались, что это будет. Они принадлежали к миру своих родителей, которые не сами выбрали себе жизненный путь, но шли по нему более-менее охотно: юриспруденция, биржевая торговля или самые разные, непостижимые для профанов занятия, сплетенные в одну огромную сеть под названием «бизнес».

Мы трое знали, чего хотим. Брокки хотел стать ученым и преподавать в университете. Я хотел стать врачом. Чарли – об этом нельзя было заикаться при посторонних – священником. Да, священником, в том смысле, который в это вкладывает англиканская церковь. Для большинства людей в Колборне слово «священник» означало только «католический». В школе были католики и несколько евреев, но им и в страшном сне не снилось оспаривать твердую англиканскую линию, проводимую директором. Я думаю, они даже получали от этого удовольствие – мысленно делали оговорку, что это все не всерьез, но наслаждались величественным слогом и изысканной формальностью англиканства. Они не старались подчеркивать, что принадлежат к иным конфессиям.

Колборн – хорошая школа, но, конечно, не рай – предлагал отличный набор знаний, полезный во всех трех так рано выбранных нами профессиях. Учителям было приятно, что Брокки любит копать глубже школьной программы на уроках древних и современных языков; мне знание древних языков помогало лучше понимать физику и химию; Чарли хорошо успевал по истории, и только по ней.

5

Маленький дикарь, обитатель лесов. Я мог бы получить и более обидную, и гораздо менее подходящую кличку: к началу учебы в Колборне я знал о диких лесах больше, чем эти юнцы, для которых знакомство с природой означало выезды на дачу в Джорджиан-Бэй и водный спорт на исплавленных вдоль и поперек озерах. Я же родился и первые четырнадцать лет своей жизни прожил в Карауле Сиу, почти в двух тысячах миль северо-западнее Торонто. О мире, лежащем к югу от нас, мы знали только по ежедневному появлению трансконтинентального поезда Канадской национальной железной дороги, который сбрасывал на нашем полустанке письма и посылки, если таковые были. Большая часть почты предназначалась для шахты моего отца. Шахта на самом деле была не его личная: она вместе со многими другими шахтами принадлежала компании, совладельцем которой он был. Добывали там серный колчедан, неинтересный минерал, однако полезный в качестве легирующей присадки и для очистки некоторых других металлов, а также для изготовления железного купороса, который применялся в производстве красок и чернил.

Отец казался мне королем нашего поселка. Он определенно был самым богатым из местных жителей. Но теперь я понимаю, что он не страдал излишним честолюбием, поскольку его устраивала жизнь в малолюдном поселке вдали от цивилизации, где он управлял шахтой, не требующей особого управления, и где почти не было людей, подходящих ему по уровню образования и развития. Больше всего на свете он любил охотиться и рыбачить, а здесь он мог заниматься этим круглый год, так как лесничих в округе не было; а поскольку индейцы в соседней резервации по закону имели право рыбачить и охотиться, когда им угодно, то человек, занятый охотой или рыбалкой, не привлек бы внимания лесничего, даже случайно проезжающего мимо.

Отец был добродушен и легок в общении. Он очень заботился обо мне, преподавал мне массу знаний по инженерному делу и математике, не превращая эти занятия в уроки, брал меня с собой в лес и кататься на каноэ по Лак-Сёль – Одинокому озеру. Он научил меня распознавать деревья – белые и черные ели, бальзамические пихты, черные сосны, царственные березы, растущие отдельными рощами, и дрожащие осины, которые отбрасывали столь пестрый и волшебный отсвет в ясную погоду и трепетали, создавая эффект присутствия чужака, в совершенно неподвижном безветренном лесу, – по временам это пугало. Я, впрочем, в лесу ничего не боялся, кроме неожиданной бури; не скажу, что любил тишину и неподвижность леса – то была слишком большая часть моей жизни, чтобы ее выделить и заметить, – но эти неподвижность и тишина стали для меня меркой и нормой жизни, и я по сей день храню их в душе. Когда мне остро нужен отдых посреди шума и суеты Торонто, я запираю дверь, задерживаю занавески и воскрешаю в душе лесную тишину, в которой вырос и которую делил с отцом.

Мать была совсем не похожа на отца. Она получила хорошее для своего времени образование: это значит, что ей и в голову не приходило пойти в университет, но она приобрела утонченность и широту познаний, свойственные очень немногим выпускницам университетов. Она поступала, как полагалось женщинам ее времени: строила свою жизнь по обстоятельствам брака и вкусам мужа. Он оказался инженером, и вскоре после свадьбы его назначили заведовать шахтой в Караул Сиу; что ж, хорошо, она поедет в Караул Сиу и посмотрит, что принесет ей тамошняя жизнь. В Карауле Сиу открылись обширные возможности для изучения природы и занятий ботаникой, и мать с жаром предалась им. Эти занятия позволяли ей уделять время тому, что считалось важным у женщин ее круга в те годы, – благотворительности, помощи тем, кому меньше повезло в жизни. Мать обучала бедняков основам современной гигиены и ухода за детьми, заставляла отца пропесочивать алкоголиков за избиение жен, а также помогала индейским женщинам в соседней резервации, когда им требовалась помощь. Она оказывала благотворное влияние, и хотя в наше время подобную деятельность высмеивают, тогда мать

занималась именно этим, вкладывая в дело здравый смысл и энтузиазм. Ее любили и уважали все, хоть и не всегда с охотой выполняли ее указания.

Что до собственной семьи, мать твердо решила не дать мне вырасти лесным дикарем; поэтому поезд часто привозил из Торонто книги и граммофонные пластинки; в нашем доме звучали Бетховен и Брамс (это было еще до повальной моды на Моцарта), а по субботам – Гилберт и Салливен, которых любил отец. Я впитал комические оперы едва ли не раньше, чем научился говорить, и любил их больше «Фауста» – эта опера была у матери полностью, на комплекте пластинок. Мне нравился дьявол, но я не понимал, чем Фауст обидел Маргариту, и никто из взрослых не счел нужным мне объяснить.

Те дни в Карауле Сиу я вспоминаю как потерянный рай. В детстве я был одиночкой, но любил одиночество и до сих пор его люблю. Несмотря на усилия матери, я вырос обитателем леса, и то, чему лес научил меня, до сих пор составляет основу моей жизни. Кроме того, в отличие от многих пациентов, получающих у меня консультации, я любил своих родителей, восхищался ими и был им благодарен. Я до сих пор питаю к ним те же чувства. Конечно, я прошел через неприменный подростковый бунт, но перерос его, и он исчез без следа, как положено детским болезням.

6

Однако не все детские болезни проходят без следа. Когда мне было восемь лет, я заболел скарлатиной, и некоторые последствия остались у меня до сих пор.

Как я заразился скарлатиной? (Возможно, следует спросить, как и почему я ее подцепил, – ведь как врач я всегда считал, что человек подцепляет болезнь, а не болезнь хватается человека.) Время от времени я забредал на наш полустанок – по сути, платформу с навесом – и разглядывал пассажиров проезжающего поезда, которые на пятиминутной остановке выходили размяться и, может быть, подивиться близости леса и окутывающей его великой тишине. Вероятно, какой-нибудь носитель болезни чихнул или кашлянул рядом со мной. Тогда считали, что скарлатина передается именно так.

Однажды случилось нечто странное, о чем я так и не рассказал матери. Поезд остановился, и среди пассажиров, вышедших на платформу подышать, оказались три девочки постарше меня – лет одиннадцати-двенадцати. Они с любопытством разглядывали меня, а я, злобно кривясь, смотрел на них. Они шептались и хихикали, а потом самая смелая – у нее были локоны, белая кроличья шубка и ботики, отделанные тем же мехом, – рванулась вперед и крепко поцеловала меня в губы. Девочки поспешили обратно в вагон, пища от сексуального восторга юности, а я, багровый от стыда, остался среди смеющихся взрослых. Может, так мне и передалась инфекция? Что хотите говорите – я уверен, что подцепил скарлатину от этой малолетней шлындры. Я несколько дней куksился, маялся горлом, порой меня тошнило. Через несколько дней мне стало совсем плохо.

Мать поставила мне градусник. Температура оказалась 103 градуса по Фаренгейту², и я весь покрылся ярко-алой сыпью. Мать немедленно вызвала доктора Огга.

Доктор Огг не служил украшением своей профессии, и потому к нам его вызывали редко – только в самых неотложных случаях. Доктор был пьяница и неудачник. Жена давно сбежала от него, чтобы жить во грехе в Виннипеге, – несомненно, там было веселее, чем с доктором Оггом. После ее отъезда доктор морально опустился и зарос грязью. Он зарабатывал в основном выпиской рецептов на джин, виски и бренди – эти напитки жители поселка должны были регулярно принимать как средства от болезней, диагностированных доктором Оггом. В те годы продажа спиртных напитков в Канаде запрещалась законом, но профессиональные врачи могли их выписывать, когда считали, что это необходимо для лечения. Профессиональные врачи регулярно выписывали такие рецепты – но, вероятно, далеко не в тех масштабах, что доктор Огг. Поскольку в деревне не было аптеки, он держал запас напитков у себя в клинике и потому мог продавать их по ценам, которые назначал сам. По сути, он был бутлегером, только облаченным в драную докторскую мантию. Но в чрезвычайных ситуациях местные жители вспоминали, что он еще и врач.

Доктор Огг явился к моей постели. От него сильно пахло дезинфекцией и бренди. Он был относительно трезв, ибо страшился моего отца, который мог бы устроить доктору неприятности, если бы тот стал слишком заметным бельмом на глазу местного общества. Доктор осмотрел меня, обнюхал (я этого не забыл до конца жизни) и жестом велел моей матери выйти вместе с ним из комнаты. Он сообщил матери, что у меня скарлатина, вероятно, везикулярная, и что это чрезвычайно опасно. В данный момент ничего нельзя сделать – только заботиться, чтобы мне было удобно, и позволить болезни идти своим чередом.

Выйдя из нашего дома, доктор Огг направился в контору моего отца в правлении шахты и сказал ему, что наш дом нужно закрыть на карантин. Об этом все забыли, но доктор Огг был еще и главой санитарно-эпидемического надзора в нашем районе, и установление карантина

² 39,4° по Цельсию.

входило в его обязанности. Если болезнь перекинется на индейцев, сказал он, это конец всему, потому что у индейцев нет к ней иммунитета и последствия будут ужасными. Он отправил несколько телеграмм, и на следующий день поезд, идущий с запада, из Виннипега, привез красные плакатики, которыми тут же оклеили все двери нашего дома, предупреждая прохожих, чтобы они держались подальше, ибо внутри буйствует нечто подобное чуме.

Отцу, как он ни сопротивлялся, пришлось съехать из дома и разбить временный лагерь у себя в конторе на шахте. В доме остались мать, индейская девушка-служанка и я. Мать спала в соседней комнате и ухаживала за мной. Доктор Огг, день ото дня все более подавленный и унылый, навещал нас утром и вечером. Почему не заболели моя мать и доктор Огг, хотя были рядом со мной каждый день? Почему я за все годы работы врачом ни разу не подцепил ничего от пациента? Я, кажется, знаю, но мои теории странно выглядели бы в медицинском журнале.

Температура у меня поднялась со 103 до 105³ градусов и не падала несколько дней. Дважды в день мне делали холодное обертывание – заворачивали в простыню, пропитанную холодной водой, а сверху – в одеяло, чтобы сбить жар, но безуспешно. Потом температура поднялась до 106 градусов, и доктор сказал моим родителям, что, скорее всего, я не доживу до утра.

То, что случилось потом, я знаю только от матери, которая рассказала мне об этом много лет спустя. День, когда доктор Огг сообщил моим родителям страшную весть, клонился к вечеру. У нас на газоне под окном моей спальни появились какие-то индейцы; они утоптали небольшой участок снега и поставили там палатку – самую простую, несколько наклонных шестов, связанных вместе у вершины и покрытых шкурами. Типи или вигвам. Мать не понимала, что происходит. Ей объяснил отец, который, как обычно, на закате пришел навестить нас. Мать говорила с ним из окна.

– Они послали за Элси Дымок, – сказал отец.

Мать знала, кто такая Элси Дымок – «мудрая женщина», знахарка, травница, которая торговала амулетами против разных несчастий, варила бодрящие и смягчительные снадобья из всяких лесных сборов и порой прикладывала заплесневелый хлеб к ранам от топора и другим серьезным травмам. То было задолго до открытия пенициллина, и методы Элси казались людям вроде моей матери антисанитарными и дикими. Любой успех Элси эти люди объясняли случайной удачей, а не познаниями о целительных свойствах плесени.

– Что они собираются делать? Нельзя, чтобы Элси Дымок была тут у нас. Ты же знаешь, что сказал Огг. Мне и так хватает забот, а тут еще эти мешаются. Вели им уйти.

– Не думаю, Лили. Я же тебе рассказывал, как они благодарны, что ты стараешься запереть заразу у себя в доме и не пустить ее в резервацию. Они хотят помочь, чем могут. Прогнать их – значит обидеть. Впрочем, я и не уверен, что они уйдут, – виновато добавил он.

Как и мать, он сознавал, что я, скорее всего, умру и что для них обоих это будет страшный удар. Насколько сильно родители любили друг друга и доверяли друг другу, можно понять по тому, что мать больше не настаивала, чтобы Элси Дымок убралась со всем антуражем.

Как уже сказано, тогда я не знал об этом ничего. Мои воспоминания о том, что случилось, – смесь из рассказа матери и обрывков моих собственных фантазмагорических воспоминаний, в которых она не участвовала. Палатку поставили, и часов в семь вечера явилась Элси Дымок, неся какие-то неопознанные матерью предметы. Она вошла в палатку, не кивнув стоящим вокруг индейцам и вообще никак не реагируя на их присутствие. Индейцы постояли и разошлись по домам. Из палатки не доносилось ни звука, ни признака жизни часов до десяти вечера, когда оттуда послышались редкие посвисты птиц. Посвисты птиц ночью посреди зимы? Что это могло быть? Вскоре к пению птиц присоединились негромкие звериные звуки; в основном волчий вой, но тихий, словно откуда-то издалека. А потом палатка затряслась; она тряслась и тряслась, будто хотела взлететь. Крики птиц и зверей постепенно умолкли, и на смену

³ 40,5° по Цельсию.

им слышался очень тихий стук бубна. Он все длился; мать решила, что он обладает гипнотизирующим воздействием, но наконец поддалась усталости – она ухаживала за мной круглые сутки не меньше трех недель – и прилегла на свою кровать, частично одетая на случай, если я ночью позову ее.

Я ничего этого не слышал. Как я теперь понимаю, я был в коме и, вероятно, приближался к смерти, поскольку температура у меня все повышалась. Но около полуночи я каким-то образом услышал звуки бубна; хотя мне строго-настрого запретили вставать и хотя я был настолько слаб и измучен лихорадкой, что едва волочил ноги, я как-то умудрился подобраться к окну, выглянуть и увидеть трясущуюся палатку. Окно было щелястое – в те годы никакие окна не сидели плотно в рамах, – и от него сквозило. Я жадно вдыхал эти струи воздуха, хотя был так слаб, что меня от них чуть не стошнило. Так я стоял – не знаю, сколько времени, – скрючившись, на коленях, в ночной рубашке, глядя на трясущуюся палатку и слушая стук бубна, который, по словам матери, гипнотизировал.

Когда наутро, в шесть часов, мать очнулась ото сна, я лежал у окна на полу. Она вскрикнула, думая, что я мертв. Но ничего подобного. Меня тут же схватили, водворили в кровать и – о, как часто это случалось во время той моей болезни! – измерили мне температуру, засунув градусник под мышку, так как рот у меня распух и любой предмет, введенный туда, причинял чудовищную боль. К изумлению матери, температура у меня упала до 104⁴ градусов, а к девяти часам, когда пришел доктор Огг, – до 102⁵. Я обильно потел.

Огг был в восторге и немедленно приписал всю заслугу себе.

– В болезни произошел перелом, – объявил он, – как я и надеялся.

– Но вы сказали...

– Я знаю, миссис Халла, просто я решил на всякий случай подготовить вас к худшему. Но я не бросал надежды. Лично не бросал, так сказать. Это мой постоянный девиз. Никогда не бросай надежды.

Только теперь мать догадалась выглянуть в окно. Палатка исчезла. Доказательством, что она здесь когда-то была, – и каким доказательством! – служил открывшийся на этом месте клочок земли, поросший сухой травой. Под палаткой стоял слой снега и льда толщиной не меньше двух футов.

Мать рассказала Оггу, что случилось, хотя понятия не имела, что все это значило. Зато Огг знал и страшно рассердился.

– Старая шлюха, вечно сует нос в чужие дела. – Он побагровел. – Со своими трясущимися палатками и всякой дребеденью для дураков! Я бы ее выгнал из поселка со всеми потрохами, не живи она в резервации, – там она в каком-то смысле неприкосновенна. Она только поддерживает суеверия и мешает научному прогрессу.

Хорошую новость немедленно передали моему отцу. Это сделал надутый от собственной важности Огг, чтобы объяснить перелом болезни своим врачебным искусством. Впрочем, он предупредил, чтобы снижению температуры не придавали слишком большого значения.

Температура у меня, однако, продолжала падать, хоть и не столь разительно, и через неделю была уже нормальной или только самую малость повышенной. Меня посадили на долгую диету из питательного гоголь-моголя с капелькой рома – этим снадобьем мать решила вернуть мне силы.

Однако прежде, чем я в самом деле выздоровел, прошло десять недель. Был длительный неприятный период, когда пришлось соскребать с кожи бурые чешуйки, оставленные лихорадкой. У Огга нашлось красивое слово для этого занятия – «десквамация». Он настоял, чтобы я

⁴ 40,0° по Цельсию.

⁵ 38,8° по Цельсию.

при этом вставал на газету и чтобы все чешуйки собирали и сжигали, так как и они, и я были все еще заражны. Матери пришлось носить маску, чтобы не вдыхать мой прах.

Все это время бедный отец спал у себя в конторе, но я наконец-то смог помахать ему из окна своей комнаты. Как только меня объявили незаражным, Огг потребовал дезинфекции всего нашего дома. В то время это означало, что все обильно протирали раствором карболки, от которой облез весь лак с мебели и, конечно, пострадали обои, но отец был так счастлив, что обещал матери вылазку в Торонто для полной смены мебели и обоев в доме.

Но прежде чем поехать, мать должна была выздороветь. Доктор Огг не навязывал своего мнения, но и так было ясно, что мать измучена беспокойством и уходом за мной и ее следует «подкрепить» самыми сильными тонизирующими средствами из арсенала Огга. В те годы тонизирующие средства еще были чрезвычайно популярны. В основном их делали, добавляя железо и кое-какие горькие травы к дешевому хересу. Отец пустил в ход собственные тонизирующие средства – хорошие вина из своего погреба. Он еще со студенческих лет, проведенных в Монреале, любил вино и держал хороший запас, которого благополучно хватило на все годы сухого закона. Огг не сомневался, что его снадобья «укрепляют кровь». Отец был так же твердо уверен, что его вина «укрепляют кровь», и даже распространил свою теорию на меня; поэтому я каждый день получал вино, разбавленное водой, и на всю жизнь приобрел вкус к этому напитку. Но конечно, это было «лекарство», приятное лишь по случайности.

Я полагаю, что мы с матерью набрались сил месяца четыре или пять. Лишь тогда родители, сняв всевозможные мерки с нашего дома, направились в Торонто, чтобы закупить новую мебель и обои. Было решено – о неописуемая радость! – взять меня с собой. Мои добрые родители подумали, что после встречи лицом к лицу со смертью я заслужил интересную поездку.

Так и получилось, что в девять лет, на десятом году жизни, я впервые оказался в городе, который пронизал собою всю мою жизнь и который я очень люблю. Лондону свойственны романтика и историческое величие. Парижу – несравненная красота и атмосфера порочного аристократизма. У Вены двоякий дух – горько-сладкий, чарующий. Но Торонто – плоскостопый, дышащий ртом честолубивый Торонто – занял в моем сердце особое место, как любимый человек, которого чуточку стыдишься, но перестать любить не можешь. Мне повезло, что первый раз я попал в Торонто весной, когда деревья окутаны зеленой дымкой, ибо это город деревьев и они круглый год составляют его главную красоту. Если Торонто когда-либо потеряет свои деревья, он уподобится облысевшей женщине.

Мы остановились в отеле «Король Эдуард». Пока родители проводили целые дни в универмаге Итона, выбирая обои и драпировки, я сидел в библиотечной комнате, где за мной присматривали разные служащие гостиницы. Но я и не собирался шалить: библиотека была укомплектована обычной для отелей безликой смесью книг, но кто-то добавил к ней высокий шкаф с выпусками «Иллюстрированных лондонских новостей» за много лет, вплоть до восьмидесятых и девяностых годов прошлого века. Эти журналы я разглядывал в каком-то трансе, и у меня сложилось совершенно ошибочное представление о внешнем виде британской столицы и ее жителях. Лучше всего были иллюстрированные отчеты о премьерах многих опер Гилберта и Салливена – мне казалось, что они написаны вчера. Родители сводили меня в театр – в «Принцессу» на Кинг-стрит. Его давно снесли, чтобы проложить Университи-авеню. Постановка, которую мы смотрели, называлась «Мадемуазель модистка», а главную роль играла Фрицци Шефф. Первые шевеления мальчишеской похоти я испытал, глядя на ее стройные ноги. Я впервые побывал в театре, и по сей день даже самая истерическая пьеса об унижениях и несправедливости, с самыми бездарными актерами, обладает для меня определенной притягательностью: я всегда надеюсь, что мелькнет красивая нога и развеет тьму.

Но самой важной частью в этом наскоке на цивилизацию был визит к известному врачу, доктору Джеймсу Роббу, который должен был меня всесторонне осмотреть и вынести вердикт о моем состоянии. Доктор осматривал меня долго, и теперь я понимаю, что он был вниматель-

ным и искусным диагностом. Но не очень хорошим психологом, потому что, прослушав, пощупав и простукав меня, он объявил результат моим родителям, когда я все еще присутствовал в кабинете, стоя рядом со стулом матери. Доктор сказал, что я «слабенький» и обращаться со мной следует соответственно; скарлатина оставила мне на память подозрительные шумы в сердце и значительную потерю слуха в левом ухе. В общем-то, я легко отделался после ужасной и коварной болезни, но мне ни в коем случае не следует переутомляться.

Этот вердикт коренным образом повлиял на мое будущее, ибо тот, кто объявляет ребенка «слабеньким», коронует и миропомазывает тирана.

7

Встал вопрос о школе.

Как мне получить образование? Мне уже стукнуло десять, а я еще ногой не ступал в класс. Единственная местная школа существовала при католической миссии; там преподавали монахи, и все утренние уроки посвящались изучению молитв и катехизиса. На это мои родители ни за что не согласились бы: они не ходили в церковь, даже когда имели возможность, но протестантские предрассудки остались при них. В резервации школы не было; оджибве могли бы ходить в школу при миссии, если бы хотели, но они не хотели. Оставалось только учить меня дома.

Оказалось, что это неплохое решение. Отец хорошо знал математику применительно к инженерному делу; алгебра и геометрия у него от зубов отскакивали. К ним он прибавлял толику естественных наук, опять же в применении к инженерному делу, и это оказалось гораздо практичнее, чем любые естественные науки, которые я изучал позже в Колборне. Куда интереснее для меня было, когда во время прогулок отец демонстрировал мне основные понятия геологии. Мать взяла на себя географию и латынь. Родители разделили между собой историю (отец очень интересовался наполеоновскими кампаниями) и литературу, которая представляла собой неограниченное чтение и много заучивания стихов наизусть. По утрам я учился; вторая половина дня была свободна, и я мог читать, играть или бродить по окрестностям.

Однако бродить я мог только под присмотром Эдду. Я презирал и ненавидел Эдду, и он отвечал мне тем же.

Это был мальчик-метис лет тринадцати, хромой: давным-давно он попал в лесу в капкан, поставленный на зверя. Миссис Дымок лечила Эдду заплесневелым хлебом, но он по-прежнему хромотал. Предполагалось, что неким таинственным образом его собственное увечье пробудит в нем сочувствие к моей слабости здоровья, но ничего подобного не произошло. Предполагалось также, что я научусь у него французскому, но он говорил в лучшем случае на патуа; когда же хотел подразнить или унижить меня, то переходил на дикую смесь французского, английского, языка оджибве и варианта гэльского, который назывался банджи или диалектом Красной Реки, и я терялся. Настоящее имя Эдду было Жан-Поль, но его все звали Эдду – причины этому я так и не узнал.

Мою неприязнь к Эдду можно назвать снобизмом и чистоплюйством, но, по моему опыту, снобизм порой означает лишь отторжение подлинно низменного; а если бы не чистоплюйство, то человечество до сих пор рвало бы зубами и пожирало шматки мяса, опаленные на огне, и никогда не изобрело бы *haute cuisine*⁶. Эдду не нравился мне, потому что страдал подростковым сексуальным эретизмом в тяжелой форме, – более тяжелой мне с тех пор не попадалось. Говоря по-простому, Эдду был постоянно сексуально озабочен.

В самый первый день, когда меня официально вручили попечению Эдду, он повел меня в лес, остановился, как только мы оказались среди деревьев, и продемонстрировал мне свой полностью возбужденный пенис. Эдду потребовал, чтобы я предъявил ему свой, но я отказался – не столько из стыдливости, сколько из боязни, что это неизвестно куда заведет. Я не знал, куда это может привести, но почувствовал, что дело опасное. Эдду стал смеяться надо мной и говорить, что мне, должно быть, вообще нечего показать. Он потребовал, чтобы я потрогал его пенис и оценил, какой он твердый и горячий; я повиновался, но лишь ради эксперимента и без особого энтузиазма. Эдду сказал, что он такой все время – потому и ходит неровно, скрючившись. Девочки в поселке и в резервации знали про него, а некоторые позволяли ему в виде

⁶ Высокая кухня (фр.).

одолжения «пощупать», так что он хорошо разбирался в анатомическом развитии местных подростков женского пола, или, как он сам выражался, «следил, как они наливаются». Отдельные девочки разрешали ему то, что он называл «пальчик-в-дырку». В описании Эдду эта игра выглядела продолжительной и сладостной, не хуже поз из «Камасутры». Он сказал, что я, если хочу, могу подглядеть, как он будет с девочками. Я не хотел. Я точно не знал, как и почему могу нажить неприятности в результате, но нутром чуял: с этим лучше не иметь ничего общего.

Я в целом знал, что такое секс. Я много читал о нем в трудах сэра Вальтера Скотта. Я знал, что любовь – нечто утонченное и прекрасное. Для меня любовь воплощалась в идеализированном облике Фрицци Шефф. Как любому деревенскому ребенку, мне доводилось видеть животных, которые занимаются «этим», и я смутно догадывался, чем именно, но не мог перекинуть мостик от животных к человеку, ведь они, ну, животные, а мы – нет. Родители никогда не говорили на эту тему – вероятно, предполагая, что я для этого слишком мал, и вообще, зачем раньше времени наводить мальчика на всякие мысли, если рано или поздно они и так у него возникнут. Насчет Эдду они даже не догадывались.

С Эдду я быстро договорился: я буду ходить своей дорогой, а он своей и он может безбоязненно получать свой доллар в неделю за присмотр – я его не выдам. С тех пор я никогда не считал Эдду примером человека, каков он от природы: в отличие от Эдду животные умеют сдерживать сексуальный инстинкт и прежде всего занимаются своим основным делом – то есть поисками пищи в достаточных количествах, чтобы сохранять жизнь и здоровье. Эдду был продуктом цивилизации, которая позволила человеку устремить все внимание на секс, сделать его своим основным занятием и хобби и, более того, жить ради этого занятия. Теперь я знаю, что впереди Эдду ждала абсолютно райская жизнь лет до восемнадцати, после чего он начнет заражать сифилисом всех своих партнеров как женского, так и мужского пола и, не дожив до тридцати, полностью сойдет с ума. Это не природа; это испорченная цивилизация.

Итак, я получил блаженную свободу от Эдду и бродил на воле куда глаза глядели. Иногда я гулял в лесу, который начинался прямо за околицей деревни. Я любил лес и откликался на него, но не в книжной манере, какая понравилась бы моей матери. Мать провела меня через «Гайавату», объяснив, что сам Гайавата был из племени оджибве, а Гитчи-Гюми, чьи берега неоднократно упоминаются в поэме, – не что иное, как озеро Верхнее, лежащее к югу от нас: не рядом, но достаточно близко, чтобы такая литературная ассоциация взволновала. «Гайавата» мне не понравился: я не заразился Лонгфелло, как заразился скарлатиной. Я честно старался мысленно звать северо-западный ветер «Кивайдин» и представлять себе Гитчи Маниту как Бога, только в индейском военном наряде из перьев; но рядом со мной жили настоящие индейцы, и они ничем таким не занимались, так что я не мог обманывать себя этой высокопарной чепухой. Я мог не моргнув глазом проглотить «Песнь последнего менестреля» и «Владычицу озера»⁷, так как ничто в окружающем меня мире им не противоречило, но не «Гайавату» – реальность, или то, что от нее осталось, была слишком близко.

Для меня лес означал покой, одиночество и свободу думать и чувствовать, как мне угодно. Я ощутил величие леса, и оно вошло мне в душу напрямую, без посредничества литературы. Позже, когда жизнь забросила меня далеко от лесов, я нашел то же самое в музыке.

⁷ «Песнь последнего менестреля» и «Владычица озера» – романтические поэмы Вальтера Скотта. (Здесь и далее, если не указано иное, примеч. перев.)

8

Моя болезнь и ощущение своей значительности как слабенького ребенка окрашивали все мои мысли, и я жаждал выяснить об этом все, что можно. Я стал молчаливым привидением в хижине миссис Дымок.

Именно так. Я приходил к ней и, не говоря ни слова, садился на пол, хоть и понимал, что она знает о моем присутствии. Я наблюдал за ее бесконечной возней: она варила или вымачивала растения, отскребала и полировала какие-то кости, отбирала одни клочки грязной шкуры, а другие отвергала. Казалось, работа никогда не кончается и миссис Дымок никогда не бывает довольна плодами своих трудов.

Со временем я выяснил, чем она занимается. Мочегонные для страдающих камнями или песком в почках – из медвежьей ягоды и одуванчика; корень гейхеры, сваренный в молоке, – при подозрении на рак. Лопух от запора – недуга, весьма распространенного в резервации; иногда черника, сваренная в молоке, – от поноса. Эти сравнительно безвредные снадобья не могли убить, а время от времени даже помогали. Но миссис Дымок варила и другие зелья, уже не столь невинные. Сладко-горький паслен от «женских недугов» – ну допустим. Спазмennyй корень для помощи в родах – да, в большинстве случаев он помогал; но были и abortивные средства, которых искали измученные матери больших семейств, насчитывавших порой до одиннадцати детей. Иногда эти средства приводили к смерти женщины, но никогда не приводили полицию к миссис Дымок – сообщество индейцев и метисов слишком хорошо хранило свои тайны.

Она варила наперстянку для изношенных сердец пожилых людей. Без сомнения, эти отвары иногда ускоряли приход смерти, и без того близкой: работа с дигиталисом требует большой точности, на какую миссис Дымок была не способна. О ее настоях белладонны от паралича и эпилепсии, а также для поздних стадий рака мне сейчас даже думать страшно. А вот от лихорадки и трясотицы она давала больным отвар ивовой коры – теперь я узнаю в нем раствор салициловой кислоты, не что иное, как примитивную форму аспирина, который я и сам прописываю каждый день.

Миссис Дымок лечила исключительно метисов и оджибве, за единственным исключением; предполагалось, что это секрет, но в поселках вроде Караул Сиу секретов не бывает. Исключением был *Père*⁸ Лартиг, священник католической миссии, ужасно страдавший геморроем. Он не мог обратиться к доктору Оггу, поскольку тот потребовал бы, чтобы пациент задрал сутану, спустил штаны и показал доктору больное место; янсенистская стыдливость отца Лартига не выносила и мысли об этом. А потому каждую субботу, вечером, старуха Анни – домоправительница патера и источник всех слухов о жизни миссии – заходила к миссис Дымок за банкой свежего сливочного масла со щедрой примесью вареного тысячелистника для умащения пастырского седалища.

Все это я узнал, внимательно наблюдая и подслушивая в мрачной однокомнатной лачуге миссис Дымок. Здесь было чудовищно грязно и воняло – въевшийся, стойкий запах гнили, но не смерти. У миссис Дымок были кожаные мешки и тряпочные, и мешки, которые уже начали порастать мхом снаружи из-за того, что лежало внутри. Углов в хижине не было; вместо ожидаемого угла возвышалась куча тряпок, шкур и каких-то обрывков и кусочков, не похожих на изделие рук человеческих или на что-либо годное для человека. Печную трубу заменяла дырка в крыше – небольшая, – через которую уходил почти весь дым из очага. Очаг окружала дугообразная конструкция из камней, игравшая роль частично плиты, частично духовки и частично кухонного стола; там постоянно кипело что-нибудь вонючее. Пол – из утоптанной земли; после

⁸ Отец (фр.).

долгих дождей или оттепели он намокал и проминался под ногой. Потолок – низкий, черный. Единственным не полностью утилитарным предметом в хижине была кукла на стене – тело ее составлял грубый крест, оплетенный бусами и перьями. Над ним висела покрытая копотью маска – лицо, разделенное на две половины, черную и красную, со свернутыми набок носом и ртом, что придавало маске не то презрительный, не то безумный вид. Однажды я спросил, что это, но миссис Дымок не ответила.

Она редко отвечала. Индейцы и метисы довольно оживленно общались между собой, но в моем присутствии мрачнели и замолкали. Однако миссис Дымок была самой молчаливой. Я научился определять по ее спине и звуку дыхания, расположена ли она поговорить. Но, несмотря на эти трудности, у нас с миссис Дымок выходили беседы по душам. Не буду пересказывать их все, чтобы не утомлять читателя. Кроме того, ее реплики невозможно передать литературным языком, поскольку, желая, если можно так выразиться, поставить точку в разговоре, она соскальзывала в патуа Красной Реки, из которого я понимал в лучшем случае каждое десятое слово. Чтобы составить у вас представление об этих беседах, я приведу одну, типичную, в виде единого диалога, изложив высказывания миссис Дымок на обычном английском языке, которым владел мало кто из индейцев. От этого теряется весь колорит, но что поделать?

Я: Миссис Дымок, я решил, кем буду. Ну, когда вырасту.

Миссис Дымок: (Молчание, потом едва слышное фырканье, которое я принимаю за приглашение продолжать.)

Я: Я собираюсь стать доктором и лечить людей. Как вы, миссис Дымок.

Миссис Дымок: (Ничего не говорит, но плечи у нее дрожат, и я понимаю, что она смеется.)

Я: Вы думаете, это слишком большая цель? Я прилежный. Мои папа и мама так говорят. Я быстро учусь. Когда я окрепну, то уеду отсюда в школу.

Миссис Дымок: Ты ехать в доктор школу?

Я: О нет, не сразу. Мне сначала нужно научиться много чему. Доктор должен знать почти про все на свете.

Миссис Дымок: Как доктор Огг, а?

Я: Нет, не как доктор Огг. И вы знаете почему.

Миссис Дымок: (Не ловится на приманку, и через некоторое время я продолжаю.)

Я: Кто меня вылечил, когда доктор Огг сказал, что я умру? Вы же знаете, миссис Дымок. Это были вы, ведь правда?

Миссис Дымок: Нет, не я.

Я: Тогда кто?

Миссис Дымок: Не твое дело.

Я: Нет, это мое дело. Вы поставили палатку прямо у меня под окном, и был шум и стук бубна, и палатка тряслась, как будто хотела улететь. И с той ночи я пошел на поправку. Но я не то чтобы совсем уже выздоровел; я еще слабый, знаете ли.

Миссис Дымок: Херня.

Я: Что?

Миссис Дымок: Сильный, как медведь. Меня не надуеть. Доживешь до старости.

Я: О, я знаю. Но я навсегда останусь слабым. Мне придется быть очень осторожным.

Миссис Дымок: Кого другого можешь надуть. А себя – никогда.

Я: Я правда слабый, честно. Даже Эдду так говорит.

Миссис Дымок: Ты и Эдду похоронишь.

Я: И чем раньше, тем лучше, если хотите знать мое мнение.

Миссис Дымок: Что не так с Эдду?

Я: Он плохой. Он говорит про плохие вещи.

Миссис Дымок: Какие плохие вещи?

Я: Про девочек. Ну, вы понимаете.

Миссис Дымок: (Необычно сильный приступ хихиканья.)

Я: Женщин надо уважать. Даже девочек. Так говорит моя мама.

Миссис Дымок: (Не позволяет себя спровоцировать.)

Я: Еще хуже, он ложится с животным, чтобы оскверниться от него. С собакой отца Лартига! С собакой священника! Ничего себе осквернение?

Миссис Дымок: От этого хер сильно болеть. Сука очень соленый.

Я: А если у собаки кто-нибудь родится? Наполовину собака, наполовину Эдду? Что тогда люди скажут?

Миссис Дымок: Эдду продать его в цирк. Стать богатым.

Я: Миссис Дымок, мне не хочется это говорить, но мне кажется, вы не всегда серьезны.

Миссис Дымок: (Молчит, но плечи заметно дрожат.)

Я: Миссис Дымок, а вы возьмете меня в ученики? Научите меня всему, что знаете про лекарства и лечение? Про палатку, которая трясется? Я буду очень стараться. Буду вашим рабом. Возьмете, миссис Дымок?

Миссис Дымок: Нет.

Я: Но почему? Лучше меня у вас никогда не будет ученика. Кто станет заниматься вашим делом после вас?

Миссис Дымок: Нельзя. Весь неправильный.

Я: Что значит «весь неправильный»? Я тут сижу, прошусь к вам, чтобы стать великим доктором и помогать людям, а вы не хотите меня учить.

Миссис Дымок: Я сказала, весь неправильный.

Я: Но почему?

Миссис Дымок: Цвет неправильный. Глаза неправильный. Мозги неправильный. Тебя убьет.

Я: Что меня убьет?

Миссис Дымок: То, через что тебе придется пройти.

Я: Вы хотите сказать, это даже хуже, чем университет? Я не боюсь.

Миссис Дымок: А лучше бы боялся, идриттвою, если хочешь научиться. Лучше бы боялся. Тебе придется сходить с ума, голодать, потеть почти до смерти. Тогда, может быть, ты готов учиться. Но ты неправильный цвет. Снаружи неправильный. Внутри неправильный. Глаза неправильный. Видишь только то, что видит белый. Мозги неправильный. Все время ля-ля-ля; никогда не смотришь; никогда не слушаешь. Никогда не слышишь. Мозги неправильный.

Я: Тогда помогите мне сделать так, чтобы у меня стали правильные мозги. Я заткнусь. Буду как мышка. Научите меня видеть так, как видите вы. Научите меня слышать. Миссис Дымок, ну пожалуйста.

Миссис Дымок: Нет.

Я: Я думал, вы мой друг. Но вы не принимаете меня всерьез.

Миссис Дымок (после долгой паузы): Какое твое животное?

Я: Мое животное? У меня нет животного. Даже собаки нет.

Миссис Дымок: Твое животное, которое ходит с тобой и помогает.

Я: А, понял. Это как в «Гайавате»? Мой тотем. У меня нету тотема. Наверно, я могу его выбрать.

Миссис Дымок: Ты его не выбирать. Он выбирать тебя.

Я: А я что, ничего не решаю?

Миссис Дымок: Нет.

Я: Тогда как я узнаю?

Миссис Дымок: Узнаешь, не волнуйся. (Долгая пауза, во время которой я пытаюсь понять слова миссис Дымок; несмотря на все мое почтение к ней, я смотрю на нее отчасти сверху вниз, как умеющий читать на неграмотного и как побывавший в Торонто, который кажется мне не меньше чем Афинами. Наконец молчание нарушено.) Хочешь попробовать?

Я: Вы имеете в виду – насчет тотема?

Миссис Дымок: Посмотри в корзинке рядом с тобой.

Корзинок рядом со мной несколько, но эта накрыта крышкой. Снедаемый любопытством, я быстро поднимаю крышку, ахаю и отскакиваю, услышав предостережение. В корзине на охапке листьев лежат две местные гремучие змеи, массасауги, об опасности которых меня неоднократно предупреждали; потревоженные, они грозно трещат погремушкой на хвосте – негромко, но я цепенею от ужаса. Отец предупреждал меня, что эти змеи чрезвычайно опасны; мать страшно боится змей и не может слышать даже упоминания о них и меня заразила своим страхом. Наверное, я побелел? Видимо, да, ибо миссис Дымок опять трясется от беззвучного смеха. Она лезет в корзинку и вытаскивает змею, и та обвивается вокруг ее руки. Миссис Дымок хватает змею прямо позади уродливой головы. И тычет ею в меня, приглашая погладить голову, испещренную черными пятнами. Я отскакиваю и скулю, страшась ужасных клыков. Лишь намного позже я узнал, что укус этих созданий редко бывает смертельным. Но слово «редко» – слабое утешение для мальчика, уже убежденного в своей немощи, стоящего лицом к лицу со старухой, чью инакость – не только возраста и цвета кожи, но глубинной истины существования – он внезапно осознал, и эта старуха хихикает и тычет ему в лицо ужасной змеей (в которой на самом деле всего двадцать четыре дюйма, но для меня она страшна, как целый дракон). Наконец миссис Дымок роняет змею обратно в корзинку и закрывает крышкой.

Миссис Дымок: Что, не понравился тебе твой тотем, а?

Я: Это не мой. Это не может быть мой тотем. Они ужасные.

Миссис Дымок: Тотем может быть ужасным. Ты его узнал, когда увидел. А ты чего ожидал? Щеночка?

Я уселся на земляной пол как можно дальше от ужасной корзины. Вероятно, я в самом деле выглядел больным, потому что миссис Дымок неожиданно сунула мне кружку чая. Это дикая смесь трав, а вовсе не чай, думаю я. Но, давась, умудряюсь сделать несколько глотков и чувствую себя лучше. Желание сбежать из хижины и больше никогда не разговаривать с миссис Дымок постепенно уступает место любопытству.

Я: Извините, пожалуйста, что я струсил.

Миссис Дымок: (Нет ответа.)

Я: Как вы думаете, я когда-нибудь привыкну?

Миссис Дымок: Да.

Я: Миссис Дымок, а какой у вас тотем?

Миссис Дымок: Не задавай вопросов – не услышишь вранья.

Я: Он помогает вам лечить людей? Он вам помог вылечить меня?

Миссис Дымок: Не я тебя вылечила.

Я: Если не вы, тогда кто?

Миссис Дымок (после очень долгой паузы): Они.

Я: Кто это они?

Миссис Дымок: Те, кто приходит.

Я: В палатку, которая трясется?

Миссис Дымок: (Молчит.)

Я: Вы хотите сказать, это ваши помощники?

Миссис Дымок: Ты слишком много спрашивать. Иди домой. Сейчас же.

9

Оглядываясь на те дни, я думаю, что был очень противным ребенком. Я понимаю, что суждение старика – такого, как я сейчас, – о своей детской личности не может быть полностью объективным. Разумеется, были люди, которые ко мне хорошо относились. И я точно знаю, что родители меня любили: мать – яростно, как свою кровиночку, выхваченную у смерти; отец, вероятно, видел во мне часть себя – кого-то, кто продолжит его респектабельную, профессионально-компетентную, никуда особо не стремящуюся жизнь. Но сам я, оглядываясь назад, вижу маленького засранца, обдывающего свои делишки, уверенно выносящего приговоры старшим и убежденного (даже не облакая эти мысли в слова), что он самый умный в Карауле Сиу.

Одним из людей, которые ко мне хорошо относились, был доктор Огг. Он решил, что я – самый впечатляющий случай в его убогой практике и что своим выживанием я полностью обязан его терпению и мудрости. Врачам не разрешается рекламировать свои услуги, но доктор Огг позаботился о том, чтобы я своим видом každодневно напоминал всем о его врачебном искусстве.

После зловещего разговора с миссис Дымок, когда она заявила, что отвратительная ядовитая змея каким-то тайным, первобытным образом соединена с моей судьбой и моими взглядами на жизнь, я начал уделять больше внимания доктору Оггу. Мерзкий тщеславный головастик, каким я тогда был, решил противопоставить медицину доктора медицине миссис Дымок, которая, как я решил, обманула мои ожидания. Не тем, что отказалась открыть тайну трясущейся палатки, а тем, что подсунула ужасную черно-пятнистую змею. Врач из захолустья был не слишком многообещающими вратами в медицину белого человека, но ничего другого под рукой не нашлось.

Доктор Огг жил один, вполне объяснимо. Во-первых, он навел тоску, а во-вторых, был занудой. Индейцы ясно видели рога обманутого мужа на его лысом черепе. Он слишком много пил, поскольку напитки всегда имел под рукой, в аптеке, а больше никаких особых дел у него не было. Каждый день он забирал вчерашний выпуск «Виннипегской свободной прессы» или торонтовского «Голоса колоний» – смотря по тому, в какую сторону проезжал мимо нас поезд, – и после того, как прочитывал всю газету от первой страницы до последней, остаток дня простирался перед ним, ничем не отмеченный. Бывало, проходила неделя без единого пациента; несчастный случай в лесу был для доктора Огга подарком судьбы (при условии, что пациент не предпочел обратиться к Элси Дымок). Жалкий доход доктора зависел от его деятельности подпольного, но всем известного бутлегера.

Поэтому, когда я приходил, доктор всегда радовался. Он думал, что я прихожу восхищаться им, подивиться его учености и широте познаний.

– Наука, Джон; наука правит миром. Взять, например, отца Лартига: он неплохой мужик для лягушатника, но что он может дать местным? Фокусы. Вот чем он занимается у себя в церкви. Он якобы превращает разбавленное вино и кусок хлеба, который его экономка-старуха Анни печет сама, в тело и кровь фокусника, который, по его словам, жил давным-давно в так называемой Святой Земле. Подумать только! И он ожидает, что индейцы в это поверят! Они не дураки. Даже не думай. Они смеются над ним за глаза.

Я вспомнил про Эдду с собакой отца Лартига и про бесчисленные тайные пакости, чинимые скучному, разочарованному, страдающему геморроем священнику из миссии. Но я не принял на веру все, что сказал доктор Огг о Христе.

– Доктор, вы не верите в Христа?

Доктор Огг срочно сдал назад. Если в высшем обществе поселка – то есть среди шести англоговорящих семей, так или иначе связанных с шахтой, и нескольких женщин-метисок – узнают, что доктор Огг хулит Христа, это не поможет его и так подмоченной репутации.

– Я верю, Джон, но в современном, научном смысле. Я только этих фокусов не люблю. Конечно, я полагаю, невеждам нужно рассказывать то, что они способны понять, – или думают, что способны. А чудеса они понимают гораздо лучше, чем науку, потому что для науки нужны мозги, и вот тут-то мы берем над ними верх. Наука правит миром, Джон. Ставь на науку.

Так я и сделал, насколько позволяли мои обстоятельства. То есть постепенно стал выполнять все обязанности фармацевта при докторе Огге. Работа была не тяжелая. Требовалось только освоить аптекарскую систему мер – 480 гранов на унцию и 12 унций на фунт. Тройскую весовую систему я уже знал от отца – он использовал ее для взвешивания редких крупниц драгоценных металлов, изредка попадающихся в округе. После тройской системы аптекарская далась мне легко. И вот я торчал на кухне у доктора Огга, которая по совместительству служила ему аптечной лабораторией; я смешивал совершенно неэффективные тонизирующие средства, скатывал пилюли, когда в них возникала нужда, время от времени толоч пестом в ступе сырье для какого-нибудь бальзама (ибо аптека доктора Огга была оборудована чрезвычайно скупой) и получал представление о жизни поселка с медицинской стороны, чувствуя себя привилегированным доверенным лицом.

Миссис Чемберс, миссис Уайт и миссис Оуэн принимали один и тот же тоник, состоящий из пары щепоток медицинского ревения и индийской сенны, разболтанных в дешевом красном вине, которое доктор покупал четвертными бутылками. Я полагаю, женщины следовали инструкциям и хорошенько встряхивали флакон, прежде чем принять столовую ложку два раза в день. Но не все тоники разводились в вине: попади такая бутылка к метиске, ее муж выпил бы содержимое одним глотком. Тоники для индейцев приходилось делать горькими (но не совсем отвратительными) и разводить дистиллированной водой. Доктор Огг черпал воду из собственного колодца, а дистиллировал ее я.

– Вот она, прибыль-то, откуда берется, – приговаривал доктор, когда я выстраивал на полке флаконы с гадостью, которые мы продавали по 75 центов за штуку.

Доктор также бойко торговал снадобьями от ревматизма, которые друг от друга особо не отличались. Спиртовую суспензию салициловой кислоты в той или иной форме смешивали с вазелином и щедрой добавкой винтергринового масла: эта смесь разогревала при растирании и издавала сильный «лечебный» запах. Конечно, она была практически бесполезна, но, как я быстро заметил, ревматики зачастую превращали свой недуг в дело всей жизни: они хотели не столько вылечиться, сколько быть в центре заботы и внимания. В особо тяжелых случаях и если лекарство предназначалось для метисов, которые всегда платили сразу, доктор иногда осмеливался подмешать туда мышьяк, иодид железа или то и другое; время от времени ему везло – попадался внушаемый пациент, которому на время становилось лучше.

Конечно, среди ревматиков было много больных гонорейным артритом, и доктор пичкал их хинином; кое-кто из больных даже пристраслился к нему. Венерические болезни попадались часто, и доктор занимал по отношению к таким больным совершенно ненаучную, но высокоморальную позицию. Предполагалось, что я о них ничего не знаю, но доктор был слишком болтлив и одинок, чтобы держать язык за зубами; он что-то бормотал про людей, которые плохо моются (хотя и сам не увлекался мытьем) и которые, приходя к нему, уже ковыляют, согнувшись пополам от запущенной хордеи.

Теперь я понимаю, сколь многие из этих болезней возникали от плохой воды, – жители поселка пользовались малочисленными колодцами, зачастую расположенными рядом с выгребной ямой, содержимое которой просачивалось в водоносные слои. Когда всю воду приходится таскать в ведрах, купание – глупая роскошь. Доктор часто утверждал (и вероятно, не лгал), что многие его пациенты не мылись с самого дня своего появления на свет. Кожа у

жителей поселка шелушилась и покрывалась струпьями, а в складках образовывалась творожистая масса. Удивительно, что чем больше времени человечество проводит в горячей воде, тем оно здоровее.

Гонорея, многоликая, как Протей, была повсюду: дети рождались слепыми или умственно отсталыми, у мужчин был уретрит, а у их женщин – «бели» и иногда «гной в трубках». Зловонная слизь капала из мест, где ей не положено быть.

Время от времени к доктору приходил коновод с лесоповала, больной мытом, подхваченным от своих лошадей.

Однако, несмотря на все эти хвори, город не походил на больничную палату. Люди жили своей жизнью и вполне справлялись. Их болезни и снадобья, прописанные доктором, служили предметом долгих, неторопливых, шутливых вечерних бесед.

Конечно, некоторые болезни были очень серьезны. Сифилис доктор Огг лечил препаратами ртути, и редкие сифилитики расхаживали по городу характерной «штампующей» походкой. Часто встречался туберкулез; но лишь когда он приводил к инвалидности, доктор принимался за свою программу лечения – «сбрасывал болезнь через кишечник» с помощью смеси вареного хмеля и патоки, а затем больного подвергали голодовке, чтобы вывести из тела излишний углерод, который, конечно же, является причиной болезни. Не знаю, откуда взялась эта фантастическая теория, но все равно до появления антибиотиков любое средство от туберкулеза действовало лишь на воображение пациента.

Мне не понадобилось много времени, чтобы понять: доктор на самом деле очень мало знает и не усвоил ничего нового с момента получения диплома. О том, что доктор учился на врача в университете Торонто, свидетельствовал диплом в рамке, который висел (всегда криво) на стене в кабинете; он был скреплен несколькими неразборчивыми подписями, но доктор точно знал, где чья, и неизменно говорил о своих преподавателях фамильярно и с любовью: «старина такой-то» – ведь от них он получил столь ценимые им врачебные познания. Позже, когда я сам стал студентом медицинской школы того же университета, я нашел доктора в списках выпускников и обнаружил, что по результатам учебы он занял место в самом хвосте своего курса и за все годы не получил ни единого приза или иного отличия.

– Главное, не выпускай из виду, Джон, – говорил он, в очередной раз приложившись к бутылке бренди, стоящей в буфете, – наука правит миром. Держись науки, мальчик, и не ведись на шарлатанство. А его кругом полно. Взять, например, христианскую науку – слышал про такую? Ее название – так называемый оксюморон, а кто в нее верит – тот настоящий *морон*⁹.

Док обожал эту шутку и часто ее повторял.

Однако не следует быть неблагодарным. Нельзя сказать, что доктор обучил меня фармацевтике: у него слишком тряслись руки и он был слишком безалаберен, чтобы смешивать лекарства, требующие мало-мальской точности. Но он показал мне, как освоить азы фармацевтики. Благодаря доктору я научился смотреть на больных профессионально: без жалости и без презрения. И еще от него я узнал, каким пугалом может быть наука для того, кому, возможно, не повезло в жизни, кто, возможно, не получил должного развития, но кто, несмотря на все это, просто глуп.

Таков был суровый приговор, вынесенный мальчишкой. Да и весь мой взгляд на поселок Караул Сиу – это взгляд ребенка-эгоиста, ибо детям нужно быть эгоистами, чтобы выжить. Я уверен, что мои представления о поселке детские, но не примитивные. С тех пор я встретил множество глупцов гораздо более ученых, чем доктор Огг, нескольких юродивых, чья жизнь вызывала благоговение, а иногда ужас, и толпы глупцов обыкновенных, *вульгарис*, которые все же как-то прокладывали себе путь в жизни: они скользили по очень тонкому льду, отделяющему их от подлинного познания себя и окружающего мира, и умудрялись ни разу не прова-

⁹ Умственно отсталый (лат.).

литься. Поэтому я не считаю слово «глупец» презрительным или даже сколько-нибудь суровым определением.

Мне самому доводилось играть роль глупца под множеством личин, и потому я чувствую некое сродство с дураками, хоть и пытаюсь держаться подальше от их глупости, чтобы не заразиться. Ибо глупость – такая инфекция, на которую хваленая наука доктора ни разу не обращала свой циклопический глаз.

Тут до меня доходит, что Эсме ждет моего ответа. Все, что я раньше записывал каракулями в своем врачебном журнале и что составляет подкладку моей жизни, пронеслось у меня в голове относительно быстро. Но теперь я должен говорить.

10

Эсме выжидательно смотрит на меня, и я понимаю, что не ответил на ее вопрос о Чарли Айрдейле. Но, как я уже объяснил, эти вопросы могут воскресить во мне такую лавину чувств, что приходится подождать, прежде чем ответить, а то я сболтну что-нибудь нежелательное. Особенно по поводу Чарли. Наверное, я молчал секунд пятнадцать.

– О, конечно, я его хорошо помню. Весь первый школьный год мы жили в одной комнате.

– Это было обычным делом?

– Да. Мальчики старше двенадцати лет жили не в дортуара, а в комнатах на двоих, которые служили и спальнями, и кабинетом для занятий. Тоже очень мрачное место.

– Мрачное. Что вы имеете в виду?

– Обстановка состояла из двух армейских коек, двух одноящичных сосновых столов, двух стульев и двух шкафчиков для одежды. А, да, еще было небольшое зеркало и умывальный прибор.

– Что такое умывальный прибор?

– Какая вы счастливая, что не знаете. Это тумбочка, на верху которой стоят фарфоровый кувшин, таз и мыльница. Проточной воды в комнатах не было – ее приходилось носить из крана в коридоре, и она никогда не была по-настоящему горячей. Тумбочка под умывальником по идее предназначалась для ночного горшка, но такой роскоши нам не полагалось; для отправления низменных нужд мы были вынуждены топтать в конец коридора, где находились писсуары, ванны и ватерклозеты.

– Звучит по-спартански.

– Мы и жили по-спартански.

– И ваши родители платили за это большие деньги?

– Нет, они платили за образование. Телесные удобства были минимальны. Конечно, я говорю о пансионерах. Нас было сотни две, а приходящих учеников примерно вдвое больше. Мы, пансионеры, полагали себя – и не без основания – сердцем школы.

– В тюрьме условия и то лучше.

– Заключенным в тюрьме нужна роскошь; они не располагают интеллектуальными ресурсами. Я не стану жаловаться на жуткие условия жизни в Колборне. Не дождетесь. Меня тошнит от писателей, которые скулят по поводу своих школьных дней. Давайте закроем этот вопрос. Кормили нас ужасно, условия жизни были примитивные, но мы знали: мы здесь не для того, чтобы наслаждаться жизнью, а для того, чтобы подготовиться к ее тяготам. В целом, я считаю, это была удачная программа.

– Прямо какой-то девятнадцатый век.

– Не совсем. Но безусловно, не загородный клуб, в какие, по слухам, превратились школы для мальчиков в США. Я много раз говорил и сейчас еще раз повторю, что мальчик, способный отучиться в хорошей школе и выйти оттуда целым, скорее всего, готов к большинству испытаний, которые может подкинуть ему жизнь.

Я не собираюсь рассказывать Эсме о системе шестерок, все еще процветавшей в Колборне в мое время. Мальчиков-первогодков – «новеньких» – отдавали ученикам третьего и более старших классов практически в слуги: шестерки чистили обувь и одежду хозяина, собирали грязное белье для стирки, пересчитывали и раскладывали по местам пришедшее из стирки, надраивали пуговицы на кадетском мундире хозяина и, если он был офицером, начищали его саблю; бегали по мелким поручениям, приволакивали дорожные сундуки хозяина из подвала в первый день каникул и вообще делали все, что велено, и не жаловались. Конечно, некоторым мальчикам эта система была ненавистна. Шелли ненавидел ее, когда учился в Итоне, но наш мир не может позволить себе слишком многих Шелли. Я лично думаю, что

мальчику из привилегированного слоя общества не мешает узнать на своей шкуре, каково быть слугой.

Время от времени шестерки получали необычные задания: мой хозяин, зачаточный Гитлер по фамилии Мосс, воспылил страстью к одной ученице соседней школы для девочек имени епископа Кернкросса; сам не имея литературного таланта, он потребовал, чтобы я сочинил стихотворное приношение его богине. Через час я положил ему на стол вариацию на тему бесчисленных «Од к Селии» елизаветинской эпохи – их авторы страдали той же болезнью, что сейчас Мосс. К несчастью, богиню звали Путци (уменьшительное от Пруденс) Ботэм, и мое творение начиналось довольно неуклюже:

О Путци! Мой смутила дух:
Свежа, как роза, нежна, как пух,
Мои мученья прекрати,
Своей любовью освети¹⁰.

Мосс тут же переслал этот мадригал Путци, но, поскольку не обладал хитростью истинного влюбленного, переписал его на бланке колледжа и отправил в конверте с гербом колледжа на обороте. Поэтому, когда письмо попало в руки девочек, раздающих почту, вся школа тут же узнала, что Путци получила любовную записочку. Путци тут же завалили просьбами прочитать послание вслух, и она не устояла. Ее соученицы были не елизаветинские девы, а закаленная торонтовская молодежь, играющая в лакросс, и стихи их насмешили; Путци согласилась с их вердиктом и выложила Моссу по телефону все, что думала по этому поводу. Разумеется, Мосс обвинил в своем провале меня; он несколько дней осложнял мне жизнь, но и я, как изобретательный слуга, не растерялся и каждый раз плевал в стакан воды, который по требованию Мосса приносил ему вечерами во время занятий. Однако эта история до некоторой степени подняла мой авторитет: теперь я слыл человеком, который способен по заказу произвести на свет любовную поэзию – настоящую, хотя, возможно, и не очень хорошего качества.

Конечно, я поделился тайной стихотворения с Броккуэллом Гилмартинем. Он пришел в восторг и каждый раз, встречая Мосса в коридоре, почтительно приветствовал его, будто благоговея перед истинным влюбленным и поэтом.

– Улыбку дамы в сердце сохранит
Без памяти влюбившийся пиит¹¹, —

бормотал Брокки, взирая на Мосса с собачьим обожанием. Мосс подозревал, что над ним смеются, но, с другой стороны, это могло быть подлинное восхищение, которое он всегда жадно впитывал и никак не мог насытиться. Как я уже сказал, Брокки стал для меня одним из двух источников силы, одним из двух друзей, во время тяжелого первого года в Колборне. Другим был Чарли Айрдейл, с которым я, по счастью, попал в одну комнату.

Это стало невероятной удачей и для меня, и для Чарли – кое-какие его привычки могли бы доставить ему неприятности, будь его соседом кто-нибудь другой. В самую первую ночь он удивил меня тем, что встал на колени у кровати и молился минут десять как минимум. Сам я никогда не молился: родители мои были номинально христианами, но обрядов этой религии не соблюдали, только праздновали Рождество и Пасху. Но я знал, что такое молитва, и удивился, что ей предается мой одноклассник: мне почему-то казалось, что к религии приходят в старости, если вообще приходят. Думаю, ни один ученик Колборна, кроме Чарли, так не молился, хотя

¹⁰ Здесь и далее, если не оговорено иное, стихи и стихотворные цитаты приведены в переводе Д. Никоновой.

¹¹ У. Ш. Гилберт. Джон и Фредди («Баллады Бэбса»).

кое-кто, вероятно, наскоро бормотал что-нибудь перед сном, накрывшись одеялом. Молитва была обязательным занятием, которому отводилось время и место по расписанию: в воскресенье утром, в церкви. Но вот он, Чарли, совершенно очевидно верующий, стоит на коленях у кровати.

Я бы ничего ему не сказал, но где-то через неделю он сам заговорил об этом:

– Я ни разу не видел, чтобы ты молился.

– Я не молюсь.

– А как же ты подбиваешь баланс?

– Какой баланс?

– Своей жизни. Как ты следишь, в какую сторону движешься? А если что-нибудь не так, как ты узнаешь, почему оно не так? А как ты просишь о помощи, если надо?

– А при чем тут молитва?

– При всем. Она нужна в том числе и для этого.

– В том числе? Что значит «в том числе»? Разве молиться не значит просто выпрашивать всякое?

И тут Чарли, мой ровесник, изумил меня, прочитав краткую, но емкую лекцию о трех видах молитвы: просительной – когда молишься о помощи и о ниспослании сил для себя; заступнической – когда просишь о помощи и о ниспослании сил для других; и созерцательной – когда утихаешь духом и молча пребываешь перед Господним величием.

– И ты думаешь, это помогает?

– Я не думаю, я знаю. И ты бы знал, если бы задумывался об этом. Это важная часть войны против дьявола на всех фронтах. И сражаться должны все. А ты плывешь по течению, а потом жалуешься, когда попадаешь к дьяволу в оборот.

В то время дьявол меня не слишком волновал, и Чарли не убедил меня обратиться к молитве, но я слишком высоко ставил его, чтобы над ним смеяться. Теперь я понимаю, что в своем отношении к религии ничем не отличался от миллионов взрослых людей, считающих, что религия – это очень хорошо, но в тоже время как-то дико, она притягивает к себе слишком много психов и причиняет слишком большие неудобства. У Чарли были и другие обычаи, не такие впечатляющие, которые я наблюдал молча, но считал их... ну... возможно, нездоровыми.

Чарли постился по пятницам и в некоторые другие дни; это не бросалось в глаза, просто он ел мало и выбирал самую простую пищу из всего, что было на столе. Никто не замечал, а если и замечали, то, вероятно, решали, что ему нездоровится. И еще он каждый день сидел с маленькой черной книжечкой, не похожей на обычный молитвенник, с надписью на обложке: «Монашеское ежедневное правило». А в свободное время (которого у Чарли было очень мало, поскольку он медленно усваивал учебный материал и вынужденно тратил каждую минуту на подготовку к завтрашним урокам) он читал толстый том под названием «Золотая легенда». Его и «Правило» Чарли держал у себя в столе, а поскольку школьный кодекс чести запрещал заглядывать в чужие столы, я видел эти книги только мельком.

Если не считать странного для мальчика увлечения религией, Чарли был обычным школьником – может быть, чуточку умнее среднего, хотя этот ум не помогал ему в учебе. Мы с Броквеллом Гилмантином обожали Чарли за его шарм и остроумие. Чарли постоянно болтал, метко комментируя поступки некоторых мальчиков из числа лучших учеников, – они были очень высокого мнения о себе и не понимали, почему другие не хотят брать с них пример. Чарли никогда не был злобен, но всегда – наблюдателен, и, когда он передавал нам разговор с одним из этих светил или описывал какое-нибудь столкновение с ними, его описания содержали ровно в меру веселой иронии, чтобы мы с Брокки не могли от них оторваться. Чарли будто смотрел на жизнь под особым углом; впрочем, так оно и было, ведь он описывал жизнь

в Колборне *sub specie aeternitatis*¹², насколько это в силах школьника. Он смеялся, и смеялся заразительно; Брокки и я наслаждались его обществом.

Это не показалось бы странным, если бы нас не разделяла пропасть, очень важная в школе: Чарли плохо учился, за исключением истории, которая легко давалась ему и по которой он даже получил награду в своем последнем учебном году. Но его часто ругали за проваленные контрольные или плохо сделанную работу, и к концу недели он набирал кучу нарядов, которые приходилось отрабатывать в субботу после обеда. Мы с Брокки, однако, учились хорошо, получая грамоты и призы, а если и ловили случайный наряд, то обычно за туманное, но всем понятное нарушение, называемое «нахальством», то есть недостаточное уважение к старшим и предполагаемым высшим. Брокки был чрезвычайно нахален.

То было нахальство мальчика, знающего, что интеллектом он превосходит остальных учеников школы, а также кое-кого из учителей. Ибо учителя были обычной пестрой компанией – от подлинно ученых, много в жизни испытавших, отличившихся храбростью на войне или чем-либо еще, достойным уважения, до тупиц, бубнящих из года в год одни и те же вызубренные уроки, – комьев глины, не оживленных искрой ума. В семье Брокки доминировал отец, выбившийся из низов собственными усилиями; в отличие от многих ему подобных он остался довольно приличным человеком и передал сыну свой взгляд на жизнь – взгляд того, кто барахтается изо всех сил, удерживая голову над волнами. Брокки хотел пойти в науку, но не питал иллюзий по ее поводу – не считал, что это чем-то лучше занятий политикой или работы в промышленности. Отец научил Брокки отторгать то, что в те дни звалось модным словечком «туфта» и что можно было наблюдать повсюду. «Это туфта», – констатировал Брокки по многу раз в день, и обычно не без оснований. Однако он не был поверхностным отрицателем всего; он во многих областях отличал достойное от недостойного. Когда я однажды рассказал, что мой отец занимается извлечением и очисткой серного колчедана, Брокки заметил, что умеет отличить обманку от настоящего золота.

– В таком возрасте? Да вы шутите. – Эсме думает, что я предаюсь любимому занятию стариков – приукрашиваю прошлое.

– Отнюдь нет. Умная молодежь удивительно рано учится отличать зерна от плевел. Брокки, несомненно, принадлежал к умной молодежи – и стал выдающимся ученым, как вы, наверное, знаете.

– Боюсь, что нет. В моей работе подобные люди всплывают нечасто.

– Тогда, вероятно, вам придется поверить мне на слово. И авторитет в своей области он завоевал, именно очищая истину от шелухи, а это редкий дар. В университетах туфта встречается нередко. Но возможно, вы об этом знаете.

– О да, слышана. Но продолжайте рассказывать о школьной жизни. Вероятно, вы трое на фоне остальных учеников выглядели странной компанией.

– Нет. Но директор еженедельно произносил перед нами речи, и его призывы запечатлелись у меня в душе и во многих других школьных душах. «Вам много дано, – гремел он, бывало, – но с вас много и спросится». И он был прав. В Колборне учились дети не только из богатых семей, но все, кто попадал туда, происходили в том или ином смысле из семей привилегированных. И директор вдолбил нам, что мы обязаны оправдать унаследованные нами места в обществе. Конечно, мы над ним насмеялись, но слова его запомнили.

Вероятно, это сильно сказано, но я чувствую, что Эсме тонкостей не понимает. Я продолжаю: по моему мнению, мы с Брокки и Чарли иногда ставили директора в тупик, поскольку не обожали спорт, как положено мальчикам. Это потому, что нас не волновало, кто станет победителем в игре со строгими правилами, где умение проигрывать ценилось едва ли не выше, чем умение выигрывать; мы готовились к игре, которая начнется после окончания школы, –

¹² С точки зрения вечности (лат.).

игре, в которой правила меняются часто и внезапно, – и твердо намеревались стать победителями. И стали, каждый по-своему.

Эсме эти слова неприятны.

– В каком смысле вы стали победителями?

– Я же сказал. Брокки известен как литературовед и автор признанных трудов по своей специальности. Меня знают в медицинском мире как автора ряда необычных концепций. Я опубликовал несколько работ, привлечших внимание, и завоевал репутацию хорошего диагноста, отчасти мутную.

– Мутную? Отчего же мутную?

– Вероятно, я зря это сказал. Это не имеет отношения к тому, о чем вы хотели поговорить.

– Ясно. А что же Чарли? О нем хоть кто-нибудь слышал?

– Может быть, однажды услышат. Его решимость не посрамила бы и святого.

– А! Опять святые. Вы собираетесь говорить об этой истории с канонизацией?

(Нет, дорогуша, не собираюсь, и мне стоит последить за своим языком. Как бы увести ее от этой темы?)

– Если вы хотите лучше понять Чарли, наверное, мне следует побольше рассказать о его школьных годах.

– Ну... Если вы считаете, что это нужно...

11

Школьные годы. Сколько туфты, если использовать любимое словечко Брокки, о них написано! Невинные души вспоминают свои школьные годы как золотой век, когда мир был молод, когда редкие разочарования служили только фоном, оттеняющим яркие моменты счастья, и когда цепочка незатейливых влюбленностей вносила в каждую жизнь что-то вроде третьесортной поэзии. Сравните это с утонченными душами, которые ненавидели всякое подчинение, подозрительно относились к любым правилам, уставам и распорядкам; любовь для них обернулась обманом, а жизнь – тюрьмой, и они бросились грудью на шипы жизни и обильно истекли кровью автобиографий, повергающих читателя в уныние. И все же представители обеих групп научились читать (не обязательно понимая прочитанное) и писать (не обязательно при этом выражая какую бы то ни было связную мысль или мнение); а также считать – настолько, чтобы их не обманули в магазине со сдачей и чтобы совершать элементарные операции по своему банковскому счету, но не слишком глубоко погружаясь в мир чисел. Очень редко бывает, чтобы школьные годы прошли совсем без пользы.

Нытики, ненавидевшие свою школу, обычно зануды. Представителей же более многочисленной группы, видящих в школе лишь фон для своих юных лет, можно слегка пожалеть: они начали жизнь с непонимания, которое гораздо позже может привести их ко мне на консультацию, с жалобами на неопределенные, но много говорящие мне болезни.

После того как мы с Брокки познакомились, или во всяком случае осознали существование друг друга (на той линейке, где Солтер объявил нас «небелыми», потому что наши фамилии показались ему необычными), я столкнулся с ним в коридоре. У него в глазах таилась искорка.

– Какой ты высокий! – произнес он.

– В самом деле?

– Кто у тебя портной?

– Портной? У меня нет портного.

– Я так и предполагал благодаря своей невероятно острой интуиции – это одна из моих выдающихся черт. Так, может, тебе завести портного?

– Что ты несешь?

– Прошу прощения. Я решил воспользоваться репликами мистера Тутса при первой встрече с Полем Домби. Ты читал «Домби и сына»?

– Нет.

– Вообще не знаешь Диккенса?

– Я читал «Рождественскую песнь».

– Святые угодники! И это притом что ты живешь в Карауле Сиу!

– Слушай, Гилмартин, меня уже задолбали этим Караулом Сиу. Заткнись, понял?

– Слушаю и повинуюсь, о великий! Позволь мне объясниться: я начал разговор с тобой словами бессмертного мистера Тутса, когда он впервые встречает Поля Домби в академии доктора Блимбера. Прошу прощения за излишнюю литературность, но, видишь ли, таков колорит моего ума. А каков колорит твоего ума? Не важно, потом выясним. Но – и ты понимаешь, что я прибегаю к цитированию, чтобы мои слова не прозвучали слишком оскорбительно, – мистер Тутс спросил маленького Поля, кто его портной, потому что Поль был очень смешно одет. А ты знаешь, что ответил маленький Поль?

– Что?

– Он сказал: «На меня шьет женщина. Та же, что и на сестрицу»¹³.

¹³ Здесь и ранее «Домби и сын» цитируется по переводу Ирины Введенской.

– У меня нет сестры. Так ты что, хочешь меня оскорбить?

– Нет, но мне определенно не удалось тебя очаровать. Я просто хотел посредством цитаты намекнуть, но у меня не получилось – так ведь? – что твоя одежда, весьма вероятно, станет мишенью для насмешек дикарей вроде нашего общего друга Солтера.

– Что не так с моей одеждой? Все, что на мне, куплено по школьному списку.

– А! Это все объясняет. Но ты спросил, что не так. Дорогой мой, этот воротничок...

– Я не вижу, чтобы кто-нибудь, кроме меня, носил такие.

– И не увидишь, разве что на Хеллоуин. Скажи, когда ты в последний раз видел стройного юношу (это я про тебя) в воротничке шириной полтора дюйма, уже натершем на его невинной шее красную полосу?

– А разве они не обязательны?

– Нет. Я даже не буду вдаваться в подробности. Просто НЕТ. У тебя деньги есть?

– Есть немного.

Денег у меня было много – отец дал, – но из осторожности я носил их во внутреннем кармане, застегнутом на все пуговицы.

– Тогда послезавтра, поскольку это будет суббота, мы с тобой пойдем в даунтаун и купим кое-какой одежды, чтобы переместить тебя из девятнадцатого века в двадцатый. До тех пор, видимо, тебе придется носить этот ужасный хомут.

Брокки был прав. Родители, вне себя от счастья, что я сдал экзамены (которые, к моему изумлению, пришлось держать в кабинете у доктора Огга и, предположительно, под его наблюдением, ибо он оказался единственным, кроме моего отца, выпускником университета в Карауле Сиу), однако удивились списку одежды, присланному из школы вместе с извещением, что меня приняли. В списке перечислялись необычайные вещи: дюжина жестких воротничков и столько же белых рубашек, к которым их можно пристегивать, майки с длинным рукавом и соответствующие кальсоны, три пиджачных костюма, в том числе по крайней мере один темно-синий или черный, жесткая шляпа фасона дерби; гетры – по желанию. Отец повез меня в Торонто и послушно купил все вещи из списка, немало изумив галантерейщиков тем, что они предназначались для мальчика четырнадцати лет; галантерейщики все еще держали небольшой запас таких воротничков для пожилых клиентов, чьи шеи от подобной сбруи стали кожистыми, как у черепахи. Отец что-то бормотал себе под нос, вероятно подозревая, что школьный список одежды не менялся с конца прошлого века. Но предположил, что таковы обычаи в престижных старых школах; и если бы в списке требовались печеночный пластырь или двусторонняя манишка, отец обязательно откопал бы их где-нибудь.

Суббота пришла как избавление, потому что мальчики, учащиеся в одном «доме» со мной, уже начали высмеивать мой внешний вид, и даже руководитель «дома» мистер Норфолк чуть морщился при виде меня. Брокки перебрал мою одежду и объявил, что костюмы, носки и прочее приемлемы, но от ужасного нижнего белья, рубашек и особенно воротничков следует избавиться. Он предложил отнести их в миссию «Гренфелл», поскольку эскимосы, как их тогда называли, – большие любители жестких воротничков. Мы купили несколько приличных мягких рубашек с пришитыми воротничками и белье, которое не превращало сентябрьский день в турецкую баню, и я преобразился. Собственно, Брокки так и сказал:

– «Преображенный урод», драматическая комедия великого лорда Байрона, не читанная практически ни единой живой душой, кроме меня, и, я тебя уверяю, смешного в ней мало. Но название удивительно подходит, как ты думаешь?

Брокки и Чарли открыли мне новую вселенную. Я впервые увидел мальчиков, живущих душой в таких мирах, которые мне и не снились. Конечно, я был неглуп, но при этом подобен силачу, сроду не напрягавшему мышцы. Мой ум привык к мечтаниям в лесу и к зоркому наблюдению в двух очень разных приемных – у миссис Дымок и у доктора Огга, – но я еще не встречал людей, превосходивших меня умственно, а такие встречи – могучий стимул интеллек-

туального развития. До сих пор я жил в мире, где был самым умным и потому мог не напрягать мозги. Я много читал, но мне не приходило в голову использовать прочитанное как неистощимый источник аллюзий и мысленных сальто-мортале, подобно Брокки. Когда он процитировал «Баллады Бэбса», чтобы подразнить Мосса, я подпрыгнул от удивления: я впервые встретил человека, который тоже читал эти баллады и ценил их.

В лесах я много ощущал и глубоко чувствовал, но мне никогда не приходило в голову связать подобное созерцание с чем-то далеким и отталкивающим – с религией, о которой я имел очень скудные и притом варварские представления, – и Чарли пробудил меня ото сна невежества. Учился я без труда, но от знакомства с мирами Брокки и Чарли у меня голова шла кругом.

Конечно, я всю жизнь жил одиночкой, и вдруг меня швырнули в гущу шумной, бурлящей толпы из шестисот мальчиков, корпящих под игом учителей – шутников, озлобленных, ретроградов, а иногда попросту садистов; учителей, которые отличились на войне, а теперь подвизались в единственной профессии, доступной тем, кто не умел ничего, кроме войны; учителей, которые объездили весь мир и бросили якорь в Колборне; учителей, которые в юности подавали большие надежды, а теперь чувствовали, как эти надежды умирают год за годом; учителей от Бога, которые превращали учебу в увлекательное приключение; учителей, уныло участвующих в унылом взаимодействии между не желающими учиться и не желающими учить; притом вид этих последних был по иронии судьбы весьма поучительной картиной. Все это приводило меня в замешательство, я терялся, но в то же время у меня захватывало дух. Меня вырвали из знакомой жизни и бросили в другую, и каждый день приносил сюрпризы.

Одним из них было то, что я недавно начал видеть сны, знакомые всем мальчикам, – сны, в которых переживаешь разнообразные совокупления и в конце неизменно выстреливаешь обильной горячей спермой, от которой остаются пятна на простыне, а пижамные штаны, засохнув, становятся жесткими, как те несчастные воротнички, от которых избавил меня Брокки. Я не знал, что делать с этими снами, пробовал их прекратить усилием воли – безуспешно – и гадал, не чудовище ли я, снедаемое неестественной похотью. Поэтому меня страшно поразило, когда как-то утром Брокки зашел ко мне в комнату – ко мне и к Чарли – и объявил:

– Господа, я на седьмом небе! Сегодня ночью я был в плену у *La Belle Dame Sans Merci*¹⁴, а после этого в мозгах наступает удивительная ясность.

– О чем ты говоришь? – буркнул я, мрачный, как всегда в первые полчаса после пробуждения.

– Ну ты знаешь... прекрасная дама, которую встречаешь во сне и покоряешься ей... о, так нежно... пока нежность не уступает место экстазу... дала мне манну, дикий мед... В среднем пару раз в неделю она уводит меня в свой волшебный грот и... тадададам! Просыпаешься печален, бледен, одинок¹⁵, но вскоре становится так хорошо! Я очень горжусь, что она является ко мне в столь прекрасном романтическом облики. В этой школе найдутся троглодиты, которые хрюкают и сопят во сне, когда на них находит темный припадок. Мне страшно думать, в какой форме Лилит-суккуб является к... ну, скажем, к моему хозяину Солтеру. Он сушит свои пижамы на батарее, и в его комнате разит запекшейся солтеровой спермой. Интересно, какое у него будет потомство.

Чарли яростно краснел. Я знал, что он ненавидит эти ночные посещения и всячески старается их скрыть, но, как уже было сказано, я наблюдателен. Интересно, подумал я, в каком виде Лилит-суккуб – Лилит Древняя, Первомать – приходит к нему. Я слишком хорошо знал, какой она является мне. Порой – страстная юная красавица, и я даже не знаю, откуда взялся этот образ, ибо наяву вокруг меня не было ни одной страстной юной красавицы. Тогда я думал,

¹⁴ Беспощадная красавица (фр.).

¹⁵ В этом эпизоде цитируются строки из стихотворения Джона Китса «*La Belle Dame Sans Merci*» (перевод В. Левика).

что мир яви – единственный, где можно обрести истину; мое знакомство с миром снов состоялось много позже. Порой суккуб приходил в виде омерзительной карги, причем неоднократно – в облике миссис Дымок: она трясла у меня перед лицом гремучей змеей и гадко хохотала, когда я поддавался неотразимой тяге соблазнительного сна. *La Belle Dame Sans Merci* — да, такую форму этот сон тоже иногда обретал: любовь, в которой жертва – мужчина, в которой не он берет, а его берут.

Чарли никогда не говорил о сексе. Если начиналась болтовня на эту тему – что бывало часто, конечно, – он молчал и незаметно смывался. Однажды, когда я, фигурально выражаясь, загнал его в угол, он сознался, что понимает: это неизбежная и необходимая часть человеческой природы, но он собирается принести ее в жертву делу своей жизни, к которому он, как точно знает, предназначен. Именно тогда он признался мне, что намерен стать священником.

Не то чтобы он это скрывал. Когда в школе праздновали Хеллоуин, Чарли явился в банном халате, призванном изображать подрясник священника; свернутая простыня заменила стихарь, а накинутый сверху шарф – епитрахиль. Костюм имел огромный успех. Несомненно, он был одним из самых продуманных среди импровизированных костюмов того вечера. Но то были внешние признаки священства; а его тайную суть Чарли хранил очень близко к сердцу.

Так мы путешествовали через Колборн-колледж. Мы состояли в музыкальном клубе и ходили на концерты, которые для меня значили больше, чем для Брокки: ему медведь на ухо наступил, что нередко встречается у литераторов. Брокки сам об этом знал и сравнивал себя с Йейтсом. Но он понемногу совершенствовался, хотя я не знаю, какую роль на самом деле играла в его жизни музыка. Потом я узнал, что он получает большое наслаждение от Чайковского. Я не хочу сказать ничего плохого об этом великом, недооцененном композиторе, но он все же не Бах, предмет моего особого и иногда пуританского поклонения. Я много лет был Бахо-снобом.

А кто не стал бы Бахо-снобом под руководством Ричарда Крейги, старшего из двух учителей музыки в школе? Он заводил нас далеко в поля музыки, но всегда возвращал домой, а домом был Бах. Я всецело подпал под влияние мистера Крейги и теперь понимаю, что он вел меня туда, где должно было открыться одно из главных дел моей жизни – развитие культуры в Торонто.

Конечно, тогда я не думал об этом именно такими словами, ведь по сравнению с Караулом Сиу Торонто был не менее чем Афинами, и все, что происходило там в смысле музыки, становилось для меня откровением. Симфонический оркестр, который, преисполнившись надежд, начинал очередной сезон, по нынешним временам провалился бы с треском, но тогда был смел и настойчив. В те дни хорошие музыканты обретались в оркестрах кинотеатров, поскольку кино еще было немым; показ фильмов сопровождался оркестровой музыкой. Музыканты, которых уже тошнило от романса Чайковского «Нет, только тот, кто знал» и финала увертюры к «Вильгельму Теллю» Россини, организовали свой оркестр и, когда не обслуживали Бебе Дэниелс или Коллин Мур – то есть днем, часов в пять, – давали концерты, исполняя общепризнанно прекрасные произведения. Мистер Крейги рассказывал, что музыканты получают за выступление в этих концертах меньше чем по пяти долларов на брата, но освежают душу хорошей музыкой, как и зрители. Иногда представления были плохо отрепетированы; время от времени звали любителя, играющего на каком-нибудь необычном инструменте (я помню маленького англиканского священника, приходившего с бас-кларнетом, когда требовалось); но этот оркестр был больше и лучше всего когда-либо слышанного зрителями, а его долготерпеливый дирижер, Констан Геблер, поддерживал гораздо более богатый репертуар, чем можно было ожидать от – по мнению особо утонченных меломанов, чья оценка была основана на радиотрансляциях выступлений великих американских оркестров, – сколоченного наспех ансамбля.

Десятку меломанов из Колборна разрешали ходить на эти концерты, и я не пропустил ни одного. По сей день я все прощаю оркестрам, которые работают над собой, стремясь ввысь, пока критики твердят, что эти оркестры – не Венский филармонический и никогда таковым не станут.

Чарли и Брокки тоже ходили на концерты, но им гораздо больше понравился первый опыт Торонто в постановке оперы – «Гуртовщик Хью». Мистер Крейги заверил нас, что это прекрасная вещь, и оказался прав. Это до сих пор единственная «большая» опера, в которой сюжет крутится вокруг боксерского поединка – английского, а не итальянского способа решить, кто получит девушку. Гуртовщик Хью и Мясник Джон должны уметь не только петь, но и бокси-ровать; возможно, именно поэтому ныне такая прекрасная опера несправедливо забыта. Была также замахнувшаяся на многое постановка «Гензеля и Гретель» с четырнадцатью настоящими ангелами, которые торжественно танцевали вокруг спящих детей, время от времени роняя перышко-другое. И конечно, приезжали с гастрольями настоящие оперные коллективы – например, труппа Фортуне Галло, которая привезла «Аиду», почти подлинно египетскую по духу благодаря тому, что главную партию пела молодая краснокожая индеанка-сопрано. Еще был «Фауст», в котором художником-оформителем выступал Норман Бел Геддес, и мы сочли эту постановку ужасно передовой. «Фауст» всегда приводил меня в недоумение и до сих пор приводит: если Фауст такой умный, зачем он продал душу дьяволу, чтобы лишиться девственности Маргариту и сделать ей ребенка? Она, конечно, милая девушка, но глуповата. Брокки сумел пролить свет на этот вопрос: стало ясно, что мужчины блестящего ума часто делают глупости из-за женщин. Он доказал это личным примером, к счастью – без смертельного исхода, вскоре после окончания Колборна.

Мы практически поселились в райке театра имени королевы Александры; мы проводили там каждый субботний вечер, а когда в Торонто на несколько недель приехала труппа шекспировских актеров из Фестивального театра Стратфорда-на-Эйвоне, мы поглотили восемь шекспировских пьес разом и переварили, насколько позволяла наша жизненная неопытность. Нам открылось великолепие, о котором мы, дети Нового Света, не знали почти ничего. Великолепие Шекспира, воспринимаемого так, как он сам предпочитал, – через театр. Нам открылся бездонный океан мифа и поэзии, в котором Брокки плескался на мелководье, никогда не заходя глубже. Но в сценического Шекспира мы погрузились с головой, и лично я так никогда и не оправился от этого погружения. В Колборне мы изучали кое-какие шекспировские пьесы – «Юлия Цезаря» и вторую часть «Генриха IV», видимо выбранные за отсутствие развратных женских персонажей, и «Как вам это понравится», из которой все неприличные намеки были вымараны. Но я твердо держусь мнения, что детям не нужен печатный Шекспир: если они не могут знакомиться с ним в театре, значит лучше вовсе с ним не знакомиться. С тем же успехом можно заставлять детей читать симфонии Бетховена.

– Мне дали увольнение на сегодняшний вечер, чтобы поужинать с отцом, – сказал однажды Брокки, – и я подумал, что могу заодно купить нам билеты на те четыре субботы, когда здесь будет Д’Ойли Карт. Надо думать, вы тоже хотите пойти?

– Что такое Д’Ойли Карт? – спросил я.

– Боже! Говорит Караул Сиу! Он не слышал про Д’Ойли Карт! А однако же, он свободно и к месту цитирует творения великого У. Ш. Гилберта и порой пропевает мотив из Артура Салливена. Знай, жалкий невежда, что оперная труппа Д’Ойли Карт – единая, святая и апостольская хранительница опер Гилберта и Салливена! Знай, что Ричард Д’Ойли Карт – тот самый импресарио, что свел вместе и удержал двух гениев, которым иначе вряд ли суждено было встретиться, и они произвели на свет столь хорошо изученные тобою оперетты! И что эта труппа, несомненно подлинная, до сих пор ощущает на себе пылающий взгляд сэра Уильяма Гилберта, который следит за каждым их шагом! Они будут здесь через две недели и покажут

все, о чем мы когда-либо мечтали, в подлинно Гилбертовом стиле, чтобы мы могли впитать все это и освежиться. Дай деньги на билеты, а прочее предоставь мне.

Брокки не ошибался. Шекспир затопил нас с головой; а Гилберт и Салливен были чистым восторгом. Торонтовские снобы впали в экстаз из-за приезда труппы Д'Ойли Карта: сэр Генри Литтон (представьте себе, настоящее рыцарское звание, но виртуозно смешит публику, танцует, как юла, и вне сцены носит настоящий монокль!), царственная Берта Льюис, елейный Лео Шеффилд, комично-злой Даррел Франкерт; жители города приглашали их отужинать, выступить на благотворительном мероприятии, прочесть вслух Писание во время службы в модной церкви и вообще проделать все, что положено знаменитым английским актерам в дальних уголках Британской империи. Я сидел как зачарованный на восьми опереттах, которые еще в детстве выучил наизусть по пластинкам: представления развернулись во всем великолепии на сцене «Королевы Алекс» (как мы, театралы, всегда называли этот театр, притом что Александра уже не была королевой, но мы не имели в виду никакого оскорбления королевской власти). Я мучительно влюбился в Уинифред Лоусон, такую смешную и жалкую в роли истицы в «Суде присяжных». Разве найдется среди созданий Природы более неотразимое, чем красивая и остроумная певица-сопрано? Все это музыкальное декадентство было одобрено мистером Крейги, поскольку исходило из Англии и актеры труппы представляли собою ходячие образцы правильной английской речи, а Артур Салливен когда-то был Мендельсоновским стипендиатом в Королевской музыкальной академии – как и сам мистер Крейги много-много лет назад.

– Вы сказали, что в школе жилось сурово; но, судя по вашему рассказу, вы отлично проводили время.

До меня доходит, что в своих воспоминаниях я впал в лирику, как часто бывает со стариками, когда они рассказывают о былом.

– Эти походы в театры и на концерты были лишь краткими часами отдыха от тяжелой работы и спартанской жизни. Но вы не думайте, что в самой школе не было никаких развлечений. Мы участвовали в разнообразных клубах.

Да, у нас в самом деле были клубы разных – хотя и не всевозможных – направлений, которые могли заинтересовать мальчиков с острым – или не столь острым – умом. Клуб филателистов, весьма многочисленный, ибо школа прямо кишела людьми, которые, как выразился Брокки, впадали в истерику из-за клочков бумаги, облизанных незнакомцами. Клуб путешественников, которым руководил капитан третьего ранга Добиньи: он преподавал нам немецкий и французский, но до этого сделал карьеру в королевском военно-морском флоте, и, по слухам, ему доводилось есть человеческое мясо на каннибальском пиру. Но самым престижным был клуб «Отбой», куда входили только префекты, активисты и лучшие ученики шестого класса. Брокки состоял в этом клубе, поскольку был прирожденным префектом, способным поддерживать порядок и отправлять большое, среднее и малое правосудие в любых вопросах, которые не обязательно подлежали рассмотрению мистера Норфолка, главы нашего «дома». Я тоже попал в клуб; я хоть и не был префектом, зато в последнем классе стал редактором школьного журнала, имевшего определенную литературную репутацию, поэтому считался активистом. Члены клуба «Отбой» пользовались громадным уважением, поскольку нам одним разрешалось курить в здании школы. Мы встречались воскресным вечером в башне, архитектурном уродце, – она была пятнадцати футов высотой, при этом окна располагались в десяти футах от земли; до башенных часов можно было добраться только через люк на крыше. Эти часы явственно ругались и что-то бормотали про себя во всякое время дня и ночи.

Наши встречи были очень разными по уровню умственного напряжения. Кое-кто из членов клуба хотел обсуждать философию, потому что как раз в это время вышло дешевое издание «Истории философии» доктора Уилла Дюранта и умные мальчики опьянели от попытки великого популяризатора «гуманизировать знание, поставив в центр его историю человеческой мысли, организованную вокруг определенных ярких личностей». Вы видите, что я вызуб-

рил книгу наизусть, при этом ошибочно считая себя глубоким мыслителем. Кое-кто из членов клуба обожал естественные науки. Наверно, мне следовало бы поддерживать их энергичнее, но я уже испробовал настоящей науки – по крайней мере, геологии – с подачи отца и потому был склонен отвергать этих зачаточных энтузиастов как дилетантов. А они в ответ не слишком уважали меня, так как ставили геологию не очень-то высоко.

Брокки же обожал перебаламучивать клуб.

– Колорит коллективного ума клуба «Отбой» – грязный, зловонный, мутно-зеленый, как река Лимпопо, и его следует разяснить: какой же он на самом деле – зеленый, серый или какой-то иной? Чтобы это установить, нужно упорно кипятить и перемешивать.

Он определенно довел клуб до кипения как-то в феврале, прочитав доклад на тему «Гордиев узел шекспировской тайны разрублен: где именно Гамлет спрятал тело Полония?». Это название звучало так серьезно, так торжественно-литературно, что сам мистер Томас Норфолк, старший учитель английского языка, решил почтить заседание клуба своим присутствием. Это в дополнение к младшему учителю, острячку и толстячку мистеру Шарпу, которого озорная выходка Брокки повергла в нехарактерный для учителя восторг. Мы сидели, совершенно легально куря сигареты (а мистер Шарп – трубку с огромной чашей). Брокки развернул свой манускрипт и стал докладывать.

Шекспироведы до сих пор не интересовались, куда Гамлет спрятал тело Полония, начал Брокки. Ведь знаменитая сцена (акт третий, сцена четвертая), когда Гамлет сталкивается с матерью и говорит с ней не по-сыновнему грубо, вызывает множество гораздо более интересных и насущных вопросов. Действие очень динамично, как во всех лучших сценах Шекспира; и в самом деле, не проходит и двадцати пяти строк, как Гамлет обнаруживает присутствие Полония за ковром и, не зная, кто там, пронзает его шпагой. Последующий диалог Гамлета и Гертруды настолько перегружен смыслами – Брокки сказал, что даже не удостоит упоминанием предположения об инцестуальной страсти в «Гамлете», и мистер Норфолк мудро закивал, одобряя подобную литературоведческую сдержанность, – что мы, как правило, не замечаем слов Гамлета «Я в ближний отнесу его покой»¹⁶, пока он не возвращается в следующей сцене, объявив: «Надежно запрятан».

Разумеется, он спрятал тело почтенного старика-советника, но куда? Когда Розенкранц и Гильденстерн спрашивают об этом, Гамлет отвечает: «Приобщи́л его к праху, которому он сродни». Это было бы исчерпывающим ответом на вопрос придворных лизоблюдов, не будь они так глупы. Но мы умнее их: мы знаем, что «прах» означает не только тело, которое остается, когда отлетела душа, но и любые отбросы или нечистоты. Что это может быть в данном случае? Дело окончательно проясняется, когда Гамлета допрашивает король и Гамлет говорит, что Полония можно найти по воню – если искать там, где надо. «Если вы не отыщете его в продолжение месяца, так он сам скажется вашему носу на лестнице, что ведет на галерею».

Что означают эти слова? Не правда ли, дело ясно как день? Гамлет спрятал Полония там, куда сам король ходит пешком, притом довольно редко, – в комнате, на которую попадают с лестницы. В таком замке, как Эльсинор, да и в любом подобном замке, со строением которых Шекспир был хорошо знаком, поскольку много их посетил со странствующей актерской труппой, комната, куда попадают с лестницы, – это нужник, устроенный во внешней стене, надо рвом. Гамлет, явно злоязычный и склонный к похабству – вспомните, как он говорит с Офелией прямо перед началом пьесы-в-пьесе, – намекает, что король редко ходит в уборную и вообще страдает запором.

Насколько сильно это оскорбление? Вспомним, что говорит Гамлет о своем дяде-короле: называет его «жабой», а его поцелуи – «нечистыми», то есть дурно пахнущими. Возможно,

¹⁶ Здесь и далее «Гамлет» цитируется по переводу А. Кронеберга.

король страдал от галитоза? Кажется, Гамлет явно и непростительно переходит на личности, так издеваясь над человеком, имеющим власть его казнить и миловать?

Откажем ли мы себе в праве поразмыслить: что могли означать такие насмешливые слова для самого Шекспира? Попытки прочесть мысли автора, руководствуясь якобы прозрачными намеками на его личные обстоятельства в его трудах, часто называют опасным безумием. Но нам ничто человеческое не чуждо; разве не заманчиво – раскрыть новые подробности жизни Короля Поэтов, о которых он нечаянно проговорился? Безусловно, весьма важен тот факт, что в конкорданции к Шекспиру мы не найдем ни единого упоминания запора, хотя множество других недугов используется в пьесах для создания комического или трагического эффекта. Почему же драматург умалчивает о хвори, столь часто встречающейся, столь досадной и столь губительно действующей на человеческий дух? Быть может, насмешливыми устами Гамлета Шекспир приписал королю Клавдию свой собственный недуг – таимый от людей и неотступно его снедающий?

Брокки скромно предоставил делать выводы слушателям. Он сказал, что у него нет времени искать в полном собрании сочинений Шекспира отсылки, которые могли бы прояснить вопрос. Но он оставил его открытым, на обсуждение клуба. Страдал ли Шекспир запором? Как вы думаете? Можно ли яснее выразить, что Гамлет нанес Полонию – в целом безвредному старику – последнее оскорбление, бросив его в нужник?

Брокки явно ходил по краю, и все это понимали. Я думал, что он зашел слишком далеко, и дивился его нахальной храбрости.

Мистер Шарп был явно не в своей тарелке и так сильно пыхтел трубкой, что она уже наверняка раскалилась докрасна. Но ко всеобщему изумлению, мистер Норфолк взял на себя ведущую роль в диспуте и представил собой твердыню незыблемого спокойствия. Он сказал, что вопрос, поднятый Гилмантином, небезынтересен, хотя юный критик, возможно, преувеличивает его важность, ибо для любой матери ее ребенок прекрасней всех на свете, даже если он хил и слаб. Но, глядя на Шекспировский Гений глазами зрелого критика, сразу понимаешь, что подобные безвкусные детали, такие как расположение нужников и физические характеристики персонажей, достойных подробного психологического рассмотрения, не заслуживают внимания подлинной литературной критики. Все прочие подлежат нашей критике, продолжал мистер Норфолк (и все, включая мистера Шарпа, поняли, что заведующий «домом» собирается изрыгнуть типичный для него поток бурной бессвязицы), но Лебедь Эйвона свободно парит в вышине. Сколько бы мы не задавали вопросов.

Мистер Норфолк замолчал, блаженно улыбаясь. Он знал, что есть вещи превыше знания. Критика в ее лучшей и благороднейшей форме – лишь тщетные поиски морали.

Мистер Норфолк сидел с закрытыми глазами, молча изумляясь собственному духовному сродству с Бессмертным бардом.

12

Смелый наскок Брокки на серьезную атмосферу клуба «Отбой» был не самой яркой страницей в жизни клуба в последний год нашей учебы в Колборне. По странности, самый забываемый случай произошел из-за Чарли.

Не то чтобы он был членом клуба. Кто бы его туда пустил? Он так и не перешел в шестой класс, а застрял в педагогическом чистилище под названием «Специальный пятый „А“», куда сбрасывали учеников, провалившихся по тем или иным причинам. Чарли не завоевал ни единого приза или награды за учебу, даже по Священной истории, потому что слишком много знал по этому предмету, слишком много написал на экзамене, залез в богословские и исторические вопросы, неведомые капеллану колледжа – вздорному молодому священнику, которого епископ не хотел посылать на приход, – и утонул в собственном многословии. Однако Чарли все любили – за его кроткий, но не изнеженный нрав. Мистер Шарп подытожил это лучше всех, сострив как-то, что Чарли – не хромая утка, а хромой голубь.

В клубе «Отбой» намечался особенно интересный вечер: один из старших учителей, в иерархии колледжа стоящий ненамного ниже директора, собрался делать доклад по теме, в которой был признанным авторитетом. То есть признанным за стенами Колборна. Мистер Данстан Рамзи, главный учитель истории, обещал поговорить о святых, а поскольку он написал две-три чрезвычайно превозносимые критиками и часто переводимые книги о самых популярных святых – тех, которыми обычно интересуются туристы, – мы ожидали весьма познавательной лекции. И оттого что это была как раз епархия Чарли, мы с Брокки попросили разрешения привести его в качестве гостя; Чарли все любили – ну, почти все, – и мы без труда получили разрешение.

Собираясь в странном зальчике в башне воскресным вечером, в марте (это было последнее воскресенье перед пасхальными каникулами), мы ожидали, что мистер Рамзи проведет нас бегом через список наиболее популярных святых, расскажет пару забавных историй из их житий, а затем мы перейдем к кофе и пончикам. Но мистер Рамзи удивил нас: он принес и показал нам книгу, красивее которой я в своей жизни не видел. Это было издание «Золотой легенды» Кекстона, оформленное Уильямом Моррисом, 1892 года. С четверть часа мы смотрели разинув рты на изысканные страницы, которые осторожно перелистывал сам мистер Рамзи. (Таков был первый полученный мной урок по этикету собирательства книг: никому не позволяй дотрагиваться до своих сокровищ, если не знаешь этого человека и не доверяешь ему.) Я уже заразился лихорадкой библиофила, и Брокки тоже; сколько послеобеденных субботних часов провели мы в пыльных букинистических лавках, которых много тогда было на отрезке улицы Янг между улицами Колледж и Блур! Мы вечно надеялись открыть что-нибудь потрясающее, не замеченное букинистом среди унылых залежей никому не интересных богословских трудов, устаревших энциклопедий, вышедшей из моды беллетристики и прочего мусора. Время от времени мы и впрямь находили что-нибудь интересное (хотя, вероятно, кроме нас, оно мало кого заинтересовало бы). Я покупал старые медицинские учебники, по которым студенты перестали учиться еще в XIX веке, – не потому, что надеялся узнать что-либо ценное для медицины сегодняшней, но потому, что они содержали интересные детали о медицине прошлого. Одну книгу я особо ценил: это был справочник по десмургии, и из него я сделал вывод, что врачи середины XIX века хоть и не подозревали об антисептике, зато умели намотать на пациента столько бинтов, что его и мать родная не узнала бы. Брокки искал первые издания разных поэтов, но, насколько мне известно, так и не нашел ничего значительного, хоть и набрал кучу забавного мусора, изданного за свой счет в XIX веке исполненными надежд авторами.

Мистер Рамзи познакомил нас с красотой печатной книги; эту красоту понимают и ценят относительно немногие, и в наше время о ней думают только в маленьких частных издательствах. Увидев моррисовскую «Золотую легенду», я влюбился, и это была одна из немногих счастливых любовей моей жизни; я влюбился в прекрасные книги, и сейчас, в старости, у меня их целый гарем, весьма значительный.

Показав нам книгу, мистер Рамзи задал вопрос: почему в 1892 году великий типограф счел нужным выпустить еще одно издание, притом неописуемо дорогое и сложное, книги, которая и без того была в числе самых популярных в Европе последние пятьсот лет? «Золотая легенда» – одна из десяти книг, которые, взятые вместе, дают связное представление о средневековой мысли и познаниях человечества в Средние века. Значит, все современные историки, изучающие Средние века, хорошо знают «Золотую легенду»? Кое-кто из них утверждает, что действительно изучал ее, но если внимательно прочитать книгу, то возникают сомнения. О чем же «Золотая легенда»? В ней собраны все легенды о святых в том порядке, в каком они вспоминаются церковью, начиная со святого Андрея (чья память совершается 30 ноября, в первый день адвента) и далее для каждого дня года вплоть до 29 ноября, на который простирают свое благотворное влияние святые Сатурнин, Перпетуя и Фелицата. К этой книге верующие люди могли обратиться в любой момент за поучительным и – не следует этого недооценивать – захватывающим чтением. Никогда не забывайте, как притягательно повествование для человеческой души, сказал мистер Рамзи.

Никогда не забывайте о мягком, но настойчивом влиянии Средних веков на современный мир! Сколько околотков, улиц и районов в Торонто – не говоря уже о церквях – носят имена святых: загляните в телефонный справочник и удивитесь. Почему так называется улица Святого Георгия, до сих пор одна из самых фешенебельных в городе? Кто хранил в душе тайное, едва ли осознанное почитание этого святого, когда улице выбирали название? Конечно же, она могла бы, подобно улице Блур, увековечить фамилию какого-нибудь процветающего пивовара или винокура. Гудерхэм-стрит – чем плохо? Но нет, улица получила имя святого Георгия, носит его до сих пор и будет носить в обозримом будущем.

Какой-то остряк предложил назвать проулок для сбора мусора, идущий на задворках улицы Святого Георгия, Драконовым проулком. Мистер Рамзи сказал, что это хорошее средневековое мышление и так вполне могли поступить. Такая интерлюдия могла бы перевести вечер на легкомысленные рельсы, не вмешайся в дискуссию Эванс.

Эванс – серьезный, иссохший прежде времени – в тот год был признанным главой Великих Мыслителей шестого класса. Ожидалось, что он произведет фурор в мире, но пока еще не ясно было, какой именно. Эванс был до невероятной степени рационален. Не могу назвать его мышление научным, поскольку его любопытство было прочно стреножено.

Эванс спросил: что такое святой и кто определяет, какой смысл вкладывается в это слово сегодня?

Мистер Рамзи ответил, что святым человека провозглашает Римско-католическая церковь; в ней существует тщательно разработанная процедура канонизации. Церковь тщательно рассматривает любого кандидата на роль святого, требуя доказательств. Обычно от смерти до канонизации проходит много лет. Кандидат должен быть человеком героической добродетели, чья жизнь и смерть свидетельствуют о необычной святости. Нужны доказанные случаи – не менее трех, – когда кандидат в святые творил чудеса, то есть становился причиной благоприятных событий, противоречащих нормальному порядку вещей или тому, что мы называем законами природы. Человека, объявленного святым, можно призывать на помощь посредством молитвы. В прошлом считалось, что определенные святые особенно помогают в определенных случаях: например, святого Витта призывали при собачьих или змеиных укусах и, конечно, при хоре Сиденгама, издавна так и называемой – пляска святого Витта. Святой Антоний Падуанский незаменим для поиска потерянных вещей. И конечно, святая Вильгефортис, которой

молились женщины для избавления от нежелательных мужей. Эти святые весьма непохожи друг на друга: о личности святого Витта не известно ровным счетом ничего, хотя он, по-видимому, жил на самом деле; святой Антоний – историческое лицо, упомянутое во многих хрониках; а вот Вильгефортис, похоже, возникла только потому, что в ней нуждались, и никаких доказательств ее историчности нет. В последнее время Церковь пытается отмежеваться от народных святых вроде Вильгефортис, хотя ее святилища до сих пор встречаются в Европе на каждом шагу; Рамзи сам побывал в нескольких и сфотографировал изображения святой, которая могла похвалиться роскошной бородой.

– И это показывает, каким шарлатанством была и остается религия, – влез Эванс.

– Вы не думаете, что это слишком широкомасштабное обобщение? – осведомился мистер Рамзи.

– Ну уж конечно, сэр, здесь, в клубе «Отбой», мы можем не стесняться, – задушевно сказал Эванс как мужчина мужчине.

– Совершенно верно; пол выложен плиткой, – пробормотал Брокки. Эванс сердитым взглядом заставил его замолчать и продолжал:

– Религия – это детство человечества. Вы составили себе репутацию, изучая кое-какие ее части, но что двигало вами? Было ли это научное любопытство – история ведь тоже наука – или подлинный интерес к религии?

– Подлинный интерес к религии, конечно.

– Но научный интерес, а не интерес верующего?

– Вы хотите сказать, что наука и вера взаимно исключают друг друга?

– Если речь идет о религиозной вере, то безусловно.

– Почему?

– Потому что вера подразумевает веру в Бога, Первопричину, Творца и вездесущее начало. А это не пойдет.

– Не пойдет? Объясните, пожалуйста.

– Ну, сейчас передовые ученые – молекулярные биологи – считают, что недавние исследования базовых органических соединений ясно доказали: все формы жизни зародились по чистой случайности благодаря непредсказуемым мутациям и по необходимости, вероятно обусловленной дарвиновским естественным отбором. А это совершенно исключает всякую возможность постулировать заранее продуманный план, или Планировщика, или концепцию Творения. Такое попросту не пойдет.

Среди слушателей пронесся шумок: клуб «Отбой», конечно, объединял передовых мыслителей, но они, так сказать, предпочитали стоять одной ногой на берегу. А такие разговоры в те годы у сыновей торонтовской элиты считались очень смелыми. Но среди шума один голос послышался отчетливо: он был незнаком мне, но исходил от Чарли. Все стали оборачиваться на него, поскольку, как гость, он не должен был выступать. Это не запрещалось, но от гостя ожидалась определенная скромность, поскольку он не член клуба.

– И это не пойдет, – сказал Чарли.

– А? Что значит «и это не пойдет»? – Эванс был недоволен тем, что его застали врасплох.

– Не пойдет, потому что это постулирует – если использовать ваш затейливый философский термин – Бога, которому свойственна человеческая ограниченность и человеческая система ценностей. Нечто вроде очень большого человека. Ваши передовые мыслители заявляют, что если Бог мыслит не так, как они, то Он не может мыслить вообще, а следовательно, не существует. Почему вы считаете, что «чистая случайность» в понимании ваших передовых мыслителей и «чистая случайность» в понимании Бога – одно и то же?

– То есть вы постулируете мир, в котором все заранее предопределено и неизменно по причине, которую наши бабушки называли Господней волей?

– Ничего подобного. Я вообще ничего не постулирую. Я предполагаю, что, хотя Господня воля и может в конце концов совершиться, отдельные части творения обладают большей свободой в пределах того, что мы называем законами природы, и часто оказываются в ситуациях, когда могут воспользоваться этой свободой. А если в результате они сядут в лужу, то, вероятно, Бог предпримет еще одну попытку.

– Айрдейл, вы, кажется, много размышляли на эту тему. – По голосу Эванса было ясно, что он собирается нанести сокрушительный удар. – Может быть, вы окажете нам любезность и приведете свое определение Бога?

– Исключено, – ответил Чарли. – С тем же успехом сорокаваттная лампочка может попытаться дать определение Ниагарскому водопаду. Лампочка знает – если вообще знает что-нибудь – лишь одно: без Ниагары она станет бесполезной диковинкой.

– Значит, доказательства у вас нет?

– Такого, которое вас убедило бы, – нет.

– Тогда почему?

– Вера. «Лишь верой можем то обнять, где мер и доказательств нет»¹⁷, как сказано в гимне, который мы часто поем на утренней молитве.

– Вера без доказательств может завести на кривые дорожки.

– Вера там, где есть неопровержимые доказательства, возможна только для того, кто обладает наиполнейшим возможным знанием всего. Для того, кто смотрит на историю, как смотрит на нее Бог. Мы же вынуждены довольствоваться тем, что известно при нашей жизни. Мы не можем знать о будущем; а о прошлом знаем лишь обрывочно. Ты помнишь, что сказал один моряк, когда ему сообщили, что царь Соломон был мудрее всех когда-либо живших, ныне живущих и тех, кто будет жить на земле?

– Не припоминаю.

– Моряк ответил: «Да попади этот Соломон ко мне на корабль, он небось утлегарь от гакабортного огня не отличил бы!»

Из всех присутствующих только Эванс не нашел эту историю забавной.

Тут вмешался председатель клуба. Это был старший префект всей школы, порядочный парень по фамилии Мартленд.

– Думаю, нам стоит вернуться к мистеру Рамзи и «Золотой легенде». Давайте послушаем его рассказ об эпохе, когда твердая вера была обычным делом. Сэр, вы, кажется, упомянули, что в течение многих веков люди обращались к «Золотой легенде» ради захватывающего чтения. Что за истории содержатся в этой книге? Если мы услышим их сегодня, захватят ли они нас?

– Разумеется, не в том смысле, в каком захватывали средневековых читателей, – ответил мистер Рамзи. – Они весьма кратки, в них мало деталей. Они повествуют о мученичестве и чудесах. Если вы не считаете мученичество за веру достойной и вдохновляющей смертью, то для вас это будет лишь рассказ о кровожадном тиране и жертве. То же и с чудесами. Они – временное нарушение законов природы. Если вы единомышленник Эванса, то можете счесть рассказы о них благочестивым враньем. Но было бы опрометчиво заявить, что законы природы никогда не нарушаются. Время от времени происходят вещи, о которых мы потом читаем в газетах – в статьях, вероятно написанных журналистом в поисках «жареных фактов» или циником. В том и другом случае истина скрыта туманом. В наши дни, говоря о чуде, мы, скорее всего, подразумеваем что-нибудь происходящее в больнице или научной лаборатории, где ученые расширяют или опровергают существующие убеждения.

– И эти чудеса можно проверить даже много лет спустя – проверить и досконально испытать, и они выдержат испытание, – встрял Эванс, до сих пор пылая полемическим задором.

¹⁷ А. Теннисон. *In memoriam*. Пролог. Цитируется по переводу Андрея Гастева.

– Они выдержат испытание, пока следующее научное чудо не докажет, что предыдущее было заблуждением или только деталью более общей картины, – произнес Чарли.

Мне было неудобно: я привел его как гостя, а он держится как у себя дома. Мартленд, видно, тоже об этом подумал, потому что опять вмешался:

– Давайте послушаем мистера Рамзи. Мы для этого сегодня собрались, в конце концов.

– Пожалуйста, не беспокойтесь на мой счет, – ответил Рамзи. – Я очень рад видеть жаркую дискуссию по вопросу, который, как я думал, представляет для вас лишь ограниченный интерес. Изучение чудес – совершенно удивительная область науки. Когда пришла Реформация, защитники Церкви стали стыдиться чудес, а лютеране использовали их как дубинку. В ту эпоху «Золотая легенда» подверглась поношениям с обеих сторон. Даже такой весьма уравновешенный человек, как Эразм, потерял свою обычную осмотрительность и заявил, что верующие – просто дураки, если верят в сказки про призраков, дьяволов и чудеса.

– А что он говорил про чудеса, которые творил Христос? – снова встрял Чарли.

– Христос был превыше всех споров, – ответил Рамзи.

– Да уж наверно, – ядовито сказал Эванс. Похоже, он прямо у нас на глазах перерождался в воинствующего атеиста.

– Следует смотреть с исторической точки зрения, – продолжал Рамзи. – В течение тысячи лет после наступления Темных веков Церковь оставалась практически единственной цивилизующей силой в Европе, и рассказы о чудесах были доходчивы для людей, которые не поняли бы богословских аргументов. Как сказал Айрдейл, эти люди верили и их вера нуждалась в поддержке. Подумайте о том, как далеко от Рима лежала деревня двенадцатого века, даже если располагалась на юге Франции; большинство людей за всю жизнь не удалялись от своего дома дальше чем на расстояние дневного перехода. Местное чудо или местный святой значили для них больше, чем целая пачка затейливых богословских доводов или папских булл.

– Значит, вы признаете, что святые и чудеса – выдумки, направленные на то, чтобы укрепить власть Церкви над невеждами?

– Нет, я ничего подобного не признаю, а вы, Эванс, изъясняетесь, как оранжист из Олстера. Я говорю, что эти подпорки были нужны для развития цивилизации, а Церковь в те тяжелые времена была единственным цивилизующим элементом.

– Но сегодня-то мы можем забыть про чудеса и святых, – сказал Эванс.

– К несчастью, история не развивается такими аккуратными прямыми путями, – ответил Рамзи. – Мы по-прежнему слышим о чудесах. В минувшем веке случилось несколько весьма впечатляющих чудес. Я посетил места, где они произошли – или якобы произошли, – и еще ни разу не встретил ни одного сомневающегося. Всего год назад я побывал в большом храме Чудес Иисусовых в Португалии, построенном на месте, где был исцелен некий Мануэль Франсиско Майо. Этот храм – осязаемое свидетельство веры в нечто явно невероятное, что, однако же, произошло, по словам некоторых людей, и было подтверждено другими людьми, которых нельзя с порога отместить как лжецов, – и все это не так уж давно. Я думаю, несмотря на то что наш век – предположительно век науки, чудеса еще долго будут происходить, а святые – появляться.

– Но что именно такое – чудо? – спросил Нолан, который вечно пытался влезть в любой спор, чтобы показать свою активность.

– Бернارد Шоу сказал, что чудо – это событие, которое рождает веру¹⁸, – ответил Местауэр, любивший демонстрировать, как пристально он следит за развитием современной мысли.

– Прошу прощения! – вмешался Брокки. – Это говорит не Шоу, а персонаж в его пьесе «Святая Иоанна». Что далеко не то же самое. Это слова архиепископа. Он выступает в защиту

¹⁸ Здесь и далее пьеса Бернарда Шоу «Святая Иоанна» цитируется по переводу Н. Рахмановой.

чудес, которые другой персонаж называет обманом. Архиепископ говорит, что обман утверждает ложь, а событие, рождающее веру, утверждает истину, – стало быть, оно не обман, а чудо. Довольно казуистический аргумент, но не забудьте, что это говорит слуга Церкви. Для него такая точка зрения была чем-то вроде генеральной линии партии.

Чарли попросту не мог молчать. Он снова вмешался:

– Шоу всегда честно представляет обе стороны. В той же сцене один из его героев говорит, что Церковь должна укреплять веру поэзией. Один из недостатков научного мировоззрения состоит в том, что оно не оставляет места для поэзии.

– И что же именно значит «поэзия»? – Эванс был полон решимости раздавить Чарли, иначе ему грозила опасность потерять лицо. Но Чарли был готов к этому вопросу.

– Поэзия является духом и квинтэссенцией познания. Она выражает страсть, вдохновляющую ученого.¹⁹

– Иисусе! – отозвался Эванс.

– Не совсем. Вордсворт, – сказал Чарли.

– Отлично, Айрдейл, туше! – засмеялся мистер Рамзи. Он наслаждался этой дискуссией. Но возможно, его реплика была не самой удачной: она хоть и увенчала Чарли лаврами, зато расширила пропасть между ним и миропомазанными членами клуба «Отбой». Для них выступление Чарли граничило с наглостью, поскольку в то время в Колборне насаждалось почти японское почтение к старшим. Но Эванс не собирался признавать поражение или даже временно отступить.

– Айрдейл, ты никогда не станешь ученым, если будешь втягивать в спор любую авторитетную фигуру, чье мнение случайно совпало с твоим. При чем тут вообще Вордсворт? Может, лучше вспомнить Эразма? Не сказал ли мистер Рамзи, что Эразм очень плохо относился к чудесам? А разве он при этом не был одним из столпов веры?

– Да, но Эразм страдал слабостью, присущей всем ученым. – Мистер Рамзи снова вмешался на стороне Чарли, что в долгосрочной перспективе могло иметь не совсем благоприятные последствия. – Эразм хотел, чтобы все были так же умны, как он сам, а если у них не получалось, он считал, что они просто упрямятся.

– И еще Эразмов на свете мало, – добавил Чарли. – А простецов – много, и они до сих пор превышают числом всех остальных. И вообще, кто-то сказал, что Господь, вероятно, любит простецов, раз создал их так много.

– Но бледных спирохет Он создал гораздо больше, – возразил Эванс. – Поэтому, если следовать твоей логике, Господь любит сифилис гораздо больше, чем простецов.

По меркам клуба «Отбой» это был сокрушительный нокаут. Аудитория засмеялась и захлопала. Чарли ничего не сказал, но все знали: может, он и проиграл спор в целом, но несколько очков все же заработал.

Мартленд вновь призвал собравшихся к порядку, и оставшееся время мистер Рамзи говорил о «Золотой легенде» и об обществе, которое подпитывалось чудесами и поощряло веру. Слово «легенда», сказал он, сегодня подразумевает нечто вроде мифа или притчи, но тогда оно было ближе к словам «урок» или «чтение». Уважать книгу «Золотая легенда» не значит отвергать эпоху Возрождения и последующие приключения человеческого ума. Это скорее значит сочувствовать Средним векам и понимать их. Внимательно взглядевшись в Средние века, мы еще сможем почерпнуть из них многое, чтобы обогатить нашу жизнь. Мы много потеряли, отвергнув таких мыслителей, как Блаженный Августин и святой Фома Аквинский. Подлинно исторический взгляд, настаивал Рамзи, это не сказка о продвижении человека из тьмы варварства и суеверий к современному просвещению, но признание того факта, что просвещение являлось в истории человечества в разных обликах, а варварство и суеверие – постоянно дей-

¹⁹ У. Вордсворт. Из предисловия к «Лирическим балладам». Цитируется по переводу А. Горбунова.

ствующие в ней факторы. Тут Рамзи сказал несколько сильных слов по поводу поднимающего голову в Германии национал-социализма, подтверждая свой тезис, что варварство и суеверие рядят старых троллей в новые мундиры. Он призвал наше внимание к тому факту, что во многих странах еще сохраняется рабовладение – в явной или слегка замаскированной форме. Он заговорил об угнетении женщин и (возможно, отчасти нетактично) объяснил его по большей части импортом в Европу (а оттуда в Новый Свет) восточных взглядов на женщину, сохранившихся под полами рясы христианства – религии, зародившейся на Ближнем Востоке: высокомерные римляне и даже волосатые дикари кельтской Европы лучше относились к своим женщинам, чем христиане, и это – черное пятно на христианстве, у которого наряду со светлой стороной, великим благотворным влиянием на нашу жизнь, есть и темная. Конечно, большую часть этой речи клубные властители умов пропустили мимо ушей как эксцентричный выбрык, свойственный Рамзи и другим людям его профессии. Хороший учитель, но чокнутый. Что ему не так с положением женщин? Мальчикам, состоящим в клубе «Отбой», казалось, что женщинам живется незаслуженно легко.

13

Мимолетная слава Чарли, завоеванная в клубе «Отбой», развеялась как дым в результате чудовищной катастрофы, происшедшей после пасхальных каникул. Катастрофы по меркам Колборна то есть. После Пасхи учеников старших классов начинали накачивать перед экзаменами, и это было весьма болезненно. Кое-кто из старшеклассников уже походил на часы со слишком сильно взведенной пружинкой: чтобы снять излишнее напряжение, приходилось прибегать к помощи врачей. Сильнее всего накручивали мальчиков, которые должны были сдавать экзамены на аттестат зрелости, ключ к поступлению в университет. В те дни таких экзаменов было двенадцать: двенадцать письменных работ на разные темы. Хотя допускались некоторые послабления – экзамен по французскому был обязательным, а по немецкому факультативным, – нам предстояли две письменные работы по математике и две по естественным наукам (как пышно именовались преподанные нам жалкие начатки химии и физики). Именно по этим четырём предметам Чарли не то что хромал – он не знал их вообще: они отравляли ему жизнь на протяжении всех школьных лет. По мере того как приближался роковой июнь, Чарли выглядел все хуже; многие мальчики ходили бледные, предчувствуя пытку, но у Чарли залегли черные тени под глазами, и он похудел, а поскольку он и раньше был тощий, то теперь напоминал скелет.

В корне всех этих неприятностей лежала максима директора: «Кому много дано, с того много и спросится». Поскольку Колборн был не государственной школой, живущей за счет налогов, а давно существующей частной, берущей плату с родителей учеников из обеспеченных семей, ученики были обязаны хорошо и даже блестяще проявить себя на единых государственных экзаменах, которые сдавали выпускники всех школ. Колборн-колледж обычно собирал все медали лейтенанта-губернатора и прочие подобные награды – только так он мог оправдать свои претензии на элитарность перед лицом мира, не любящего чужих привилегий. Колборн претендовал на мантию лидера – и по результатам экзаменов на аттестат зрелости должен был, хоть кровь из носу, оказаться в первых рядах, обогнав другие частные школы. Поэтому давление было огромным, накручивали нас страшно и особо одаренных мальчиков тренировали, как призовых лошадей, – учителя занимались с ними отдельно, разбирая экзамены за прошедшие годы, чтобы дать примерное представление о том, какие вопросы могут оказаться на экзамене и как на них лучше всего отвечать. Мы с Брокки постоянно ходили на эти дополнительные занятия, но бедный Чарли был безнадежен; открыто его никто не оскорблял, но он чувствовал холодность, как бы говорящую, что с ним дополнительно заниматься – только время тратить.

Нельзя сказать, что он не старался. В эти последние дни он отчаянно пытался побороть неспособность к наукам, не искорененную за много лет. Он сидел над учебниками допоздна – перед экзаменами нам разрешали заниматься столько, сколько нужно. Я на правах активиста жил теперь в отдельной комнате, но время от времени заглядывал к Чарли, стараясь его подбодрить. Но как подбодрить того, кто с каждым днем все ближе к гильотине? Я пытался с ним заниматься, но он уже дошел до точки, и я чувствовал, что, выражаясь словами доктора Джонсона, осаждаю глупость, которая даже не сопротивляется. У Чарли были очень светлые, почти белые волосы, и теперь он по временам выглядел как старик. Я понимал, что он заболевает физически, а не просто от беспокойства, висящего в воздухе, которым мы все дышали. С Чарли было что-то не так, и головными болями он страдал наверняка не от банального переутомления. Я купил медицинский термометр – первый в моей коллекции за многие годы, из которой можно было бы составить дикобраз, – и мерил Чарли температуру; она не опускалась

ниже ста градусов²⁰. Я настаивал, чтобы он пошел к школьному врачу, – из-за болей в ушах, которые приходили и уходили, и сильной боли в глазах. Он пошел, и школьный врач, который не был Галеном – по сути, тот же доктор Огг, только в чистой рубашке, – похлопал его по плечу, сказал что-то успокоительное про экзаменационную лихорадку и дал аспирину. Я настаивал, чтобы Чарли пошел к другому доктору, но он, к моему удивлению, отказался:

– Это все мое воображение. Я должен его обуздать.

– Чарли, ради бога, не строй из себя титана духа. Ты болен. Это очевидно. Ты не можешь в таком состоянии сдавать экзамены. Это не воображение.

Но он был непоколебим. Он знал, в чем дело: он симулирует, тело пытается его предать, и он этого не потерпит. Он покажет своему телу, кто тут хозяин. Я знаю, что он много молился – разумеется, о помощи на экзаменах. Но из последующей клинической практики я узнал, что Господь не особенно интересуется экзаменами – точно так же, как не желает вмешиваться в работу фондового рынка или поддерживать начинания в шоу-бизнесе.

Я об этом не догадывался, но именно болезнь Чарли подтолкнула меня к тому, чтобы стать врачом – притом совершенно особенным врачом. Моего друга предавало не тело, и его уму было не под силу взять верх над телом и заставить его слушаться. Что-то другое, какой-то более глубинный и радикальный Чарли пытался не пустить его на экзамены, где ему неминуемо должны были причинить боль. Именно моя привязанность к Чарли и мое сострадательное, но при этом клиническое наблюдение его болезни привели меня к решимости пойти в медицину – больше, чем все туманные наставления миссис Дымок и мелкая самоуверенность доктора Огга. Я хотел и дальше заниматься таким наблюдением – насколько это возможно.

Теперь я понимаю, что Чарли был очень болен – так тяжело, что в то время я об этом не мог догадаться; его болезнь могла привести к мастоидиту, возможно смертельному, а пока что это был синусит, причем такой, который требовал немедленного вмешательства. Даже небольшое изменение в ходе болезни могло убить Чарли. Но этого не случилось, потому что болезни не развиваются так неумолимо и неотвратимо. Тут действовал еще какой-то фактор, слишком тонкий, чтобы быть чисто физическим, и слишком глубокий, чтобы быть чисто умственным, – какой-то третий Чарли, который делал его глубоко несчастным и превратил экзамены в длительное мученичество, но не собирался его убивать.

Наконец пришел июнь. Во время самих экзаменов я совсем не видел Чарли, потому что он сдавал экзамены на аттестат зрелости низшего разряда, а я – высшего: при успехе я должен был попасть в университет, пропуская обязательный первый год, в течение которого преподаватели пытаются научить людей, которым это никогда не понадобится, писать грамматически правильной прозой и вложить горстку элементарных фактов и общепринятых постулатов западной цивилизации в умы, совершенно девственные в этом отношении. У меня было свое дело, притом нелегкое. Каждый день я покидал Колборн, добирался в огромный тренировочный зал, который, кажется, был частью викторианского арсенала, и отыскивал там стол со своим номером. За этим шатким, хромым столом я писал экзаменационную работу. Вопросы для нее раздавали специальные надсмотрщики, которыми командовал главный экзаменатор: они расхаживали по проходам, чтобы никто не списывал, провожали девочек в туалеты, наспех устроенные для них в мужском царстве арсенала, и конвоировали мальчиков, которым не терпелось, к писсуарам, зорко следя на предмет шпаргалок, спрятанных в ширинке. Эти надсмотрщики, вероятно, за день проходили много миль по залу и коридорам, и на лицах у них застыло выражение меланхоличной отрешенности. Спроси один из них, чем я желаю позавтракать, прежде чем меня повесят, я бы не очень удивился. Экзамены были тяжким испытанием, растянутым на несколько дней, – пока я не напишу все, что требовалось в моем конкретном случае.

²⁰ По Фаренгейту, то есть примерно 37,8° по Цельсию.

Я уже очень давно не вспоминал, что я «слабенький»; и я совершенно не был слабым в том, что касалось подготовки к экзаменам. Я подготовился к ним настолько хорошо, насколько позволяли мои способности, под руководством нескольких учителей в Колборне, которые занимались со мной отдельно. Я отлично представлял, что ждет меня на экзаменах. Нельзя сказать, что я сдал их одной левой, но в последний день я вышел, чувствуя, что справился неплохо. По крайней мере, я попытался ответить на каждый вопрос каждого экзамена, а когда была возможность выбирать, я выбирал те вопросы, в которых надеялся проявить себя с лучшей стороны.

В течение двух экзаменационных недель я иногда сталкивался с Чарли, но мне было некогда наблюдать за ним. Конечно, я к нему забегал, но любой, кому приходилось сдавать трудные экзамены, поймет, что меня поглощали собственные заботы, не оставляющие времени на других. И сегодня, когда испытания кончились для нас обоих, я, сдав свою последнюю письменную работу, пошел искать Чарли. Я постучал в дверь его комнаты, но ответа не было; я заглянул внутрь – Чарли сидел у стола; ему стало заметно хуже.

Сам не осознавая, в тот день я провел свой первый осмотр больного: я измерил его пульс, посмотрел язык – желтый, сильно обложенный, – как мог прослушал сердце через трубку, свернутую из бумаги. Температура, потеря аппетита, постоянная головная боль – ничего особенного, но в сопровождении свинцовой бледности и глубокой изможденности они указывают на тяжелую болезнь. Все это сказало мне, что дело серьезное, хотя, конечно, я не знал в точности насколько. Не прошло и часа, как я дозвонился до своих родителей в Караул Сиу, и они согласились с моим решением – не ехать домой, а как можно быстрее отвезти Чарли в Солтертон. Мои родители немножко знали Чарли – познакомились с ним, когда приезжали в Торонто навещать меня, и он их очаровал. Я знал, что они скучают и хотят скорее со мной увидеться, но они поверили мне, когда я сказал, что дело неотложное. Также в течение этого часа я дал телеграмму родителям Чарли, чтобы они встречали нас на вокзале в Солтертоне сегодня вечером; я надеялся, что там, по крайней мере, найдется нормальный врач и будет кому позаботиться о Чарли.

У меня было больше денег, чем у него, и я все сделал с размахом: взял билеты в ныне давно не существующий бастион роскоши и привилегий – вагон-салон. Мы сидели в пухлых вращающихся креслах, обитых тускло-зеленым бархатом, и воображали себя важными шишками. И впрямь, суэта, которую я поднял вокруг Чарли, и атмосфера неотложности пошли ему на пользу. Впервые за много недель кто-то отнесся к нему всерьез, как к человеку, а не как к бестолковому экзаменуемому. Пока мы неслись по унылым равнинам на восток, в сторону Солтертона, лежащего на полпути от Торонто к Монреалю, Чарли рассказал мне, как прошли для него эти унижительные две недели. Он полагал, что прилично ответил по истории, древней и современной, а также по английскому (литература и сочинение); он не сомневался, что сдал французский язык и литературу, а также латынь и классику. Но что касается математики и естественных наук, это была катастрофа. Чарли знал, что провалился, и переживал свой позор так, как может только мальчик из Колборна.

Мальчики из Колборна должны не проваливаться, а побеждать; именно для того, чтобы подготовить их к победам – в любой области, где они захотят попытать силы, – родители отправили их в частную школу. Директор, не слишком пугая нас, иногда объяснял, что значит провал на экзаменах. Куда пойдет человек без аттестата зрелости? Какие дороги ему открыты? Директор не вдавался в подробности, но мы догадывались: вероятно, несчастный, не допущенный в университет, сможет только собирать мусор или же выгребать нечистоты. Целью был успех, но не в вульгарном и пошлом смысле этого слова; нет, нам следовало добиваться успеха в понимании великого доктора Арнольда из школы Регби. Успех в каком-нибудь благородном предприятии, успех в выработке и поддержании твердости характера – вот что имело значение, а деньги были вторичной, а может, даже и недостойной целью. Однако директор не огра-

ничивался мыслями доктора Арнольда; для своего времени и для своей профессии он был очень смелым человеком. Он цитировал в речах, обращенных к нам, слова Бернарда Шоу, от которого, по мнению торонтовских тори, до сих пор несколько припахивало серой: «Истинное назначение жизни – в том, чтобы посвятить себя великой цели и отдать ей все силы, а не прозябать, живя только удовольствиями». Но директор и представить себе не мог, чтобы кто-нибудь посвятил себя великой цели, не получив сначала аттестата зрелости, даже если не собирается идти в университет. По мнению директора и всех, чье мнение хоть чего-то стоило, это был обряд инициации, без которого невозможно стать настоящим мужчиной, человеком действия.

Итак, Чарли провалился. И теперь я вез его домой, где он должен был предстать перед родителями.

Родители Чарли были для меня загадкой. Они казались очень далекими, хотя нельзя сказать, что они пренебрегали сыном или были к нему жестоки. Они по-своему выражали свою любовь к сыну. Профессор Айрдейл иногда называл сына «старик». Мать называла его «милый», но это очень многозначное слово, и значение его зависит от интонации; та, с которой его произносила мать Чарли, была не слишком задушевной. Я побывал у них раза два или три за школьные годы, и они всегда были любезны и приятны в общении, но неприступны – в отличие от моих собственных родителей. Я объяснил это тем, что они были из (я мысленно ставил вокруг этого слова кавычки) «высородных». Профессор происходил из английской семьи, в которой мужчины на протяжении многих поколений становились университетскими преподавателями, священниками или тем и другим сразу, а сам он заведовал кафедрой античной литературы в Уэверли. Мать Чарли была урожденная мисс Мерриэм из Монреаля; как многие англоговорящие монреальцы, она душой так и не покинула родной город и в беседе постоянно упоминала о балах, катании на санках и о своих школьных днях, проведенных в пансионе благородных девиц под руководством грозных мисс Эдгар и мисс Крамп. В этом пансионе многие поколения мисс Мерриэм перековывали в идеально воспитанных юных леди – то есть идеально воспитанных, пока не познакомишься с ними поближе. Миссис Айрдейл как-то упомянула – это была традиционная семейная шутка, – что, когда она объявила о своей помолвке с Гербертом Айрдейлом, ее подруга обеспокоенно сказала: «Но, Эдит, как же ты будешь проводить время? Никто из нормальных людей не знает с профессорами!» Тем не менее брак, по-видимому, оказался удачным; ясно было, что у Айрдейлов водятся деньги, а так как для университетских преподавателей это нехарактерно, отсюда следовало, что деньги – ее. Профессор же привнес в семейный союз знание греческого и латыни, и, похоже, все сложилось хорошо. По крайней мере, с этим конкретным профессором нормальные люди знали. Мне показалось, что родители обращались с Чарли как со взрослым задолго до того, как он перестал быть ребенком, и совсем не обращали внимания на младенца, который живет во всех нас, пока мы живы, и чьи потребности иногда приходится удовлетворять.

Они встретили нас в Солтертоне, на старом вокзале, сложенном из обтесанных блоков известняка. Они заулыбались Чарли, и мать поцеловала его; меня они приветствовали едва ли не с большей теплотой, потому что я «пошел на неудобства», как они выразились, чтобы привезти больного домой. Они явно думали, что с ним нет ничего серьезного – просто устал от экзаменов и от сознания своего провала. Провалы Чарли были для них привычным делом. Но деньги – отличное лекарство от плохо сданного экзамена.

Очень скоро стало ясно, что у Чарли действительно что-то серьезное. Он несколько дней сидел на гоголь-моголе с ромом, но температура и головная боль никуда не делись, а свинцовая бледность только усилилась. Его тошнило – слишком часто, чтобы это объяснить непривычкой к гоголь-моголю. Семейный доктор – по совместительству друг семьи, не слишком наблюдательный и уделявший больше внимания родителям больного, чем ему самому, – решил, что Чарли следует показать кому-нибудь еще, «специалисту». Солтертон мог похвалиться лучшим медицинским обслуживанием среди всех промежуточных точек между Торонто и Монреалем:

в местном университете был хороший медицинский факультет, а при нем – неплохая больница. Так что больным наконец должны были заняться врачи, – по моему дилетантскому мнению, давно пора. Специалист бормотал себе под нос что-то невнятное, потом призвал коллег, и после консилиума они объявили, что болезнь Чарли – сильно запущенный синусит, воспаление носовых пазух, которых у человека, оказывается, несколько. Их нужно было дренировать. Их дренировали, и это, похоже, помогло, но две пазухи – их медицинские названия мне тогда ничего не говорили, но речь шла о тех, которые расположены по сторонам носа, под глазами, – не поддались; зондирование показало, что они сильно воспалены и дренировать их невозможно. Единственным выходом была, по выражению специалистов, «фенестрация» – операция, которая откроет проход в упрямые пазухи. Это не вызвало бы особого беспокойства, если бы не одна деталь: анестезия тогда была в таком зачаточном состоянии, что инъекций, усыпляющих больного на время операции, не существовало и любую анестезию подавали через дыхательную маску. Это означало, что операцию придется проводить без обезболивания. Врачи не распространялись особо, но любой, даже лишенный воображения, понял бы, что это значит.

Родители Чарли восприняли новость типично для них. Мать время от времени восклицала: «Ох, милый!» – несколько сердечней ее обычного обращения к сыну, но мне стало ясно, что она в этих обстоятельствах беспомощна. Отец был настроен шутливо и сказал, что Чарли придется вдохновляться примером матросов Нельсона, которым отпиливали ноги в трюме корабля в бурном море, обезболивая только ромом и закушенной пулей. Я знаю, что профессор воевал – и, вероятно, хорошо – на Первой мировой и повидал немало ужасов; но было ясно также, что он попросту отмахивается от грядущих мучений Чарли; у него недостаточно воображения, чтобы проникнуться чужим страданием. Впрочем, даже если бы он мог посочувствовать сыну, вряд ли это помогло бы.

В течение двух недель, пока все это происходило, я оставался в Солтертоне – Айрдейлы уговорили меня побыть с Чарли. Я уверен: они знали, что в некоторых отношениях я ему ближе родителей. Если я расскажу об этом Эсме, то нужна будет осторожность: по нынешним временам, особенно в кругах, где вращается Эсме, любая крепкая мужская дружба немедленно объявляется гомоэротизмом. Но к нам с Чарли это точно никак не относилось. Я был для него защитником; он мне доверялся. Я не господствовал над ним, и он не «повисал» на мне, но факт остается фактом. Я могу поклясться, положив руку на сердце, что мысль о сексе даже не закрадывалась нам в голову; если теперь кажется, что это стесняющие рамки, то в Колборне такие рамки безусловно поощрялись. Я думаю, подобная крепкая мужская дружба существовала всегда, и тем, кто считает, что секс правит миром, следовало бы это понять. У родителей Чарли мы жили в одной комнате, но там было совершенно определено две кровати.

Во время болезни Чарли, лежа в постели, часами читал «Золотую легенду». Старый экземпляр, который он брал с собой в школу, был убогим маленьким томиком – переизданием XIX века на латинском языке. Чарли наострился читать испорченную позднюю латынь автора «Легенды», Иакова Ворагинского, и этим объяснялись его школьные успехи в классической латыни. Но после того памятного заседания клуба «Отбой» мистер Рамзи часто виделся с Чарли; обнаружив любовь Чарли к «Легенде», мистер Рамзи подарил ему перевод на ходульный, но понятный викторианский английский. Чарли берег эту книгу, как сокровище: в школе он получал награды за успехи по истории, но любой подарок от Рамзи – Старой Уховертки, как прозвали его ученики – был чрезвычайно редким делом, а потому ценнее любой награды. Дарственная надпись гласила: «Чарльзу Айрдейлу от собрата-энтузиаста Данстана Рамзи».

Кажется, накануне операции Чарли читал и молился всю ночь; я спал, но иногда сквозь сон осознавал, что у Чарли горит свет. Я несколько раз заглядывал в английское издание «Легенды», но на долгое чтение меня не хватало – мне претили наглые выдумки, которые выдавались за деяния святых. Чарли не вступал в споры по этому поводу. «Истина морали

выше простого факта», – говорил он, и много лет спустя мне предстояло слышать подобное высказывание довольно часто. В ту ночь я знал: Чарли укрепляет себя истиной морали, как он ее понимает.

Чарли читал свою старую «Легенду» на латыни; я читал английское издание. Почему? Потому что врачи, которые должны были оперировать, долго думали, как помочь Чарли пере-нести боль, которая будет долгой и тяжелой. Наконец они поступили весьма непрофессионально и спросили самого пациента. И Чарли сказал: наверное, ему поможет, если во время операции кто-нибудь будет читать ему вслух. И хирурги согласились попробовать.

А кто же будет читать? Миссис Айрдейл объявила, что это свыше ее сил. Сама мысль приводила ее в ужас. Профессор сказал что, конечно, почитал бы, но, к несчастью, на этой неделе в Уэверли проходит конференция научных обществ и он как завкафедрой вынужден председательствовать на симпозиуме по классической литературе – именно в тот день и час, на которые назначена операция. Так что мы сами видим – у него связаны руки.

Итак, читать выпало мне. Я согласился с готовностью, поскольку мечтал увидеть настоящую хирургическую операцию.

На следующее утро Чарли не завтракал по приказу врачей, но я поел с аппетитом. Мы встали рано, поскольку Чарли нужно было явиться в больницу к восьми утра. Мы вместе пересекли кампус университета, залитый лучами утреннего солнца, дошли до больницы и поднялись по ступеням (ибо ее воздвигли в эпоху, когда количество ступеней у входа было показателем важности сооружения). У двери нас встретил младший хирург и вручил Чарли медсестре, которая увела его для подготовки к операции.

– Ты его друг, верно? – спросил хирург. – А родители не явились? Ага. Очень благородно с твоей стороны побыть с другом.

– Ну... – сказал я, не желая приписывать себе излишнее благородство, – вы знаете, я очень интересуюсь медициной. Я сам надеюсь стать врачом.

– Правда? Я так понимаю, ты будешь нам помогать. Новый вид анестезии, ха-ха. Операция длинная и очень болезненная, но я знаю – ему будет легче оттого, что ты рядом.

Так и вышло. Я наслаждался тем, что меня «размыли» и облачили в халат вместе с великими людьми. Настало время идти в операционную. Мне велели сесть за головой Чарли на высокую табуретку. Хотя я всего лишь чтец, операция будет видна мне во всех подробностях.

Привезли Чарли на каталке – худого и больного, как никогда, но вид у него был решительный. Я знал, что ему дали кокаина, но в таких случаях этот препарат следовало использовать очень осторожно. Как только потечет кровь, обезболивающий эффект сильно снизится. Чарли тоже об этом знал. Когда хирург – не младший, а светило, который должен был оперировать, – шепнул мне: «Готов?» – я принялся читать рассказ о чудесах, совершенных святыми Петром и Павлом. Читал я хорошо, сильным голосом. Главная медсестра протянула главному хирургу, доктору Хетерингтону, какой-то инструмент, и я заметил, что Чарли пошевелил правой рукой под хирургической простыней. Я понял, что он крестится, и тут до меня дошло, что значила для него операция. Это было мученичество. Он собирался принести свое страдание во славу Божию и доверился Господу, чтобы Тот хранил его во время операции, а может быть, даже принял его душу, если сохранить жизнь не удастся. Я был уверен, что врачи не сомневаются в удачном исходе, но они не всегда знают, что творится в голове у пациента, – он может испытывать огромный страх смерти во время медицинских манипуляций, несколько не опасных. Но я усвоил это по опыту многих лет, в течение которых моей главной задачей было понять пациента. Взаимоотношения пациента и Смерти – совсем не то же самое, что вероятность выздоровления с точки зрения врачей.

Операция была долгой, и, читая, я невольно видел то, что творилось передо мной. Главная медсестра время от времени поглядывала на меня, проверяя, как я там, но я держался. Если Чарли может такое вынести, то я, зритель и не совсем обычный ассистент, уж точно смогу.

Операция заключалась, попросту говоря, в том, что хирурги ввели зонды в ноздри Чарли и прорезали дырки вбок, в пораженные пазухи. Там есть природные отверстия, но они забились или заросли. В тишине операционной я слышал, как врачи сверлят кость. Звук был такой, как будто крысы возятся под обшивкой стен. Я восхищался спокойствием и уверенностью хирурга и расторопностью, с которой старшая медсестра командовала всеми присутствующими, кроме него. Я ужасно переживал за Чарли, но не расстался со своим завтраком. То, что я теперь чувствовал к Чарли, было превыше всякого восхищения. Вот, думал я, что переносили эти его святые – в той или иной чудовищной форме. Решимость Чарли была достойна святого. Я читал выразительно, как мог. Обстоятельства не допускали никакого легкомыслия в речи: здесь требовался высокий стиль.

Я нарушил этикет операционной единственный раз, когда громко чихнул, – но сумел поймать чих в платок и, конечно, в маску, которая закрывала мне нос, но не рот. Думаю, если бы я чихнул на операционное поле, старшая медсестра прикончила бы меня на месте.

Не знаю, когда это случилось, – кажется, примерно две трети операции уже прошло: доктор Хетерингтон прижал к губам палец, обтянутый резиной, – сделал мне знак замолчать. Я решил, что для Чарли непосильно слушать чтение, и закрыл книгу. Викторианский томик теперь имел несколько жалкий вид – главная медсестра настояла на том, чтобы опрыскать его дезинфектантом; он не намок, но отсырел.

Наконец операция завершилась, и Чарли увезли. Главный хирург обратился ко мне:

– Прости, что я тебя выключил. Но ты не поверишь, до чего твое чтение отвлекало. Я постоянно ловил себя на том, что мыслями погружаюсь в сюжет, а это не годится, правда ведь? Ты отлично держался. Я слышал, ты собираешься стать нашим коллегой? Удачи.

Мне показалось, что в этот момент я вырос на целый фут. Духовно то есть, потому что телом я уже вымахал до шести футов и пока что продолжал расти. Но я чувствовал: меня радушно встретили в профессии, которая станет моей.

14

– А где все это время был Брокки? – резко спросила Эсме. – Мне казалось, он тоже жил в Солтертоне. Он что, полностью сбросил Чарли на вас?

Меня несколько удивило, что она таким обвинительным тоном говорит о своем свекре.

– Вовсе нет. Он часто приходил навестить Чарли, а его мать посылала больному цветы и фрукты. Пока Чарли лежал в больнице – в те времена в больницах лежали намного дольше, чем сейчас, – меня часто приглашали к Брокки домой. Мы много времени проводили вместе.

Мне было очень странно. Меня поражал контраст между домом Брокки и домом Чарли – и до сих пор поражает. Еще я получил ценный для врача урок: нельзя составить полное мнение о человеке, пока не увидишь, как он живет.

Я полагаю, это было дело вкуса. Айрдейлы – во всяком случае, хозяйка дома – обладали безупречным вкусом. Это значило: все, что можно свести к минимуму в отношении цвета или дизайна, было сведено к минимуму; стены были белесого цвета со смелыми серебристыми акцентами там и сям; мебельная обивка из дорожной материи не привлекала внимания; украшения стола были настолько совершенны, что абсолютно незаметны; в комнатах всегда стояли свежие букеты, но не из того, что миссис Айрдейл насмешливо называла «цветы полевые», – каждый бутон имел идеальную родословную, знал свое место и совершенно не выделялся. На стенах висели любительские, но хорошие акварели: миссис Айрдейл когда-то баловалась рисованием, но потом бросила. Чарли как-то процитировал слова своего отца: человек безупречно одет, если ты можешь пробыть в его обществе минимум десять минут, не заметив этой безупречности. Тот же принцип царил и в обстановке дома: здесь все было подобрано с таким вкусом, что почти невидимо.

Совсем не то у Гилмartiнов. Яркие восточные ковры на полу прямо-таки бросались в глаза и перекрикивались со стенами, из которых одна или две были обтянуты красной парчой. Канделябры если не бренчали и не переливались хрустальными подвесками, то сияли позолотной бронзой или голландской латуной. Все, что подлежало полировке, блестело и сверкало; все, что можно было покрыть узором, пестрело им. Очевидно, Гилмартини любили антиквариат и исходили из принципа, что любая хорошая в своем роде вещь сочетается с любой другой хорошей в своем роде вещью независимо от природы этих вещей. Результат выглядел удивительно и богато – или походил на антикварную лавку, в зависимости от того, нравились ли вам родители Брокки. Мне они очень нравились. Еще в доме было множество картин – всевозможных периодов и школ, – и все они роскошествовали в широких золотых рамах. Было несколько огромных – валлийские горные пейзажи работы художника по фамилии Лидер. Профессор Айрдейл был ученый человек – ученость была его профессией, – но книги у Айрдейлов жили исключительно в кабинете хозяина; лишь в гостиной иногда попадался стратегически размещенный томик – модный в данный момент роман. А у Гилмartiнов книги валялись по всему дому – одни блестящие и новенькие, другие потрепанные и старые; одни в отличных кожаных переплетах, другие – связки дешевых разломаченных переизданий. Гилмартини выписывали больше журналов, чем я за всю свою жизнь видел в одном месте, а уж газетами дом был прямо-таки переполнен, потому что именно газетным делом мистер Гилмартин – тогда еще не сенатор Гилмартин – сколотил себе состояние. Дом просто вопил о богатстве хозяев. Надо думать, корифеи декора интерьеров – вроде миссис Айрдейл – посмеялись бы над «дисгармоничной» обстановкой. Но Гилмартини, зная они об этом, не обратили бы внимания. Скорее всего, они и не знали таких слов – «гармоничная обстановка». Для них вещи были вещами, и чем больше вещей, и чем они дороже и качественнее, а по возможности – еще и старше, тем лучше. Гилмартини наслаждались изобилием.

Их дом назывался «Сент-Хелен» и стоял на самом берегу озера. Это был один из старейших домов города и вообще старый для канадского дома, то есть построенный в первые два десятилетия XIX века. Просторный и приветливый, очень явно относящийся к той эпохе, когда слуг держали много. Но Гилмартинов это, кажется, не заботило; вероятно, понятие удобства было им совершенно чуждо, и они прекрасно обходились лакеем, верхней горничной, кухаркой и загадочной личностью под названием «девка-чернавка». За садом следили два садовника. Сад был такой же крикливый и, вероятно, безвкусный, как и дом, но он радовал сердце матери Брокки.

Она была «инвалидом». Это сразу давали понять каждому гостю. Как при каждом богатом больном, при ней состояла рабыня. Рабыней была ее сестра, тетя Минни, после знакомства с которой вскоре становилось понятно: с ней что-то не так. Скоро я узнал от Брокки, что у нее *petit mal*; не то чтобы «припадки», но частые «приступы», во время которых она как бы отсутствует в собственной голове. «Улетает танцевать с феями», как выразился Брокки. Что же до инвалидности миссис Гилмартин, ее терзал целый комплекс заболеваний, из которых главным была астма, а на втором месте – несколько других, не сказать, что не связанных с постоянным перееданием. Но болезненность не мешала матери Брокки увлеченно болтать, сплетничать и выносить суждения – пронизательные, и острые, и, надо сказать, остроумные – по поводу людей и обстоятельств.

Все Гилмартины поглощали еду в огромных количествах, говорили одновременно и часто с полными рта и, казалось, питались печатным словом. Отобедав с семьей Брокки, можно было многое узнать о нем самом. Смех, сарказм, ирония и всевозможные риторические приемы были их стихией; думаю, они сами этого не осознавали, но язык служил им великой, никогда не надоедающей игрушкой, и игра не кончалась.

Сами их паузы были риторическими. Я несколько раз ужинал в «Сент-Хелен», и время от времени над столом повисала тишина, словно все Гилмартины внезапно онемели или их заставило умолкнуть какое-нибудь болезненное воспоминание. Я не мог бы сказать, насколько часто это случалось, но определенно достаточно часто, чтобы я понял: это обычное дело и обитатели дома его страшатся. Перепад эмоций Гилмартинов поражал так же, как их вкус в декоре интерьера: они могли перейти от буйной веселости к мрачному молчанию внезапно, без какого-либо сигнала и без предупреждения. Когда это случалось, я тоже молчал: то была семейная тишина, которая что-то означала, и попытка гостя перекинуть мостик через паузу была бы нетактичной и даже невыносимой. Однажды после ужина, во время которого случилась такая парализующая пауза, мы удалились наверх, в комнату Брокки, и он заговорил об этом:

– Ты ведь понимаешь: у нас несчастливая семья. Родители не особо ладят, хотя и стараются не подавать вида – особенно при гостях. Но иногда у разговора попросту кончается пар.

Я не понял, что значит «не особо ладят». Я не знал семей, кроме своей собственной; а моим родителям, думаю, даже в голову бы не пришло задаться вопросом, «ладят» они или нет. Они муж и жена, и все тут. Если им было что сказать, они это говорили, а если нет, то молчали, и молчание их не пугало. Они совершенно точно не рассматривали разговор как вид искусства или развлечение – только как обязанность по передаче смысла от одного человека другому. Наверное, они были скучные люди, но, вероятно, понятия скуки для них тоже не существовало. Я что-то такое и сказал Брокки.

– Я не удивлен, – ответил он. – Когда ты только появился в Колборне, казалось, что ты полностью лишен языка. Но я сразу разглядел в тебе говоруна. Тебя надо было только раскупорить, и я приложил старания.

Если у Брокки как друга и был недостаток, это его уверенность, что он сам создал меня из какого-то набора случайных кусков, как юный Франкенштейн – свое чудовище. Я ему об этом сказал.

– Нимало, – возразил Брокки. – Не кипятись. Нет-нет, если меня и можно кем-то назвать, то Пигмалионом, который высвободил тебя, живого и говорящего, из мраморной глыбы – или, наверное, точнее будет сказать, из глыбы канадского гранита, добытой в Карауле Сиу. А как же звали чудовище? Может, Эрик? Надо посмотреть.

И он полез смотреть. Оказалось, что чудовище никак не звали. Постоянно проверять что-нибудь по книгам – это тоже была семейная привычка. Отец Брокки – его звали Родри, а жена звала его Род – рассказал мне, что он самоучка и не утверждает, что получил отличное образование, но, по крайней мере, сызмала привык выискивать в книгах ответы на вопросы.

– Вот, например, – сказал он, – у тебя необычная фамилия, Халла. Откуда она взялась? Не знаешь? Но откуда-то она должна была взяться, а если это выяснить, то можно выяснить и множество других интересных вещей о тебе. Брокуэлл, иди посмотри в словаре фамилий – все, что найдешь о фамилии Халла.

Брокки пришлось выйти из-за стола, и тетя Минни накрыла его тарелку крышкой, чтобы еда не остыла. Его не было минут десять.

– В книге про фамилии нет ничего о Халлах, – сказал он, – но я нашел Халлу в словаре национальных биографий. Вот он: Джон Пайк Халла, родился в тысяча восемьсот двенадцатом году, умер в тысяча восемьсот восемьдесят четвертом, композитор и деятель в области музыкального образования. Он изобрел систему для чтения музыкальной записи без нот – ту, которую впоследствии сменило тоническое сольфеджио Кервена.

– О, тоническое сольфеджио! – воскликнула миссис Гилмартин. – Мин, помнишь?

– Конечно помню, – ответила тетя Минни, – и я так и не поняла, зачем мы его учили. Мне всегда было труднее читать эту запись, чем обычные ноты.

– Брокуэлл, продолжай, – сказал Родри. – Что там про семью? Откуда взялась фамилия?

– Фамилия предположительно гугенотская, – ответил Брокки.

– Ага, вот оно! – воскликнул Родри. – Гугеноты. Вот тебе и предок, и капелька семейной истории.

– Но почему вы думаете, что мы с ним родня?

– О, сомнений нет! Фамилия очень редкая. Ты хоть раз в жизни встречал однофамильца? Не упускай случай приобрести предка. Я мечтаю иметь хоть одного.

– Папа, у тебя их кучи, – сказал Брокки. – Их портретами увешан весь дом. О, я знаю, что ты их купил там и сям, но ты можешь сказать, как генерал-майор Стэнли в «Пиратах Пензанса»: «Не знаю, чьи предки они были, но точно знаю, чьи предки они теперь!» Кто владеет, тот и прав.

– Но это не то же самое, что необычная фамилия, – заметил Родри. – Я бы на твоём месте держался за Джона Пайка.

– А я вспомнила Халлу, – сказала миссис Гилмартин. – Он написал «Трёх рыбаков». Мы это пели. Помнишь, Мин?

И тут, к моему изумлению, две пожилые женщины – мне они казались пожилыми – запели, чарующе и музыкально, без следов одышки и старческого дребезжания. Судя по голосам, они прошли выучку в хорошем хоре.

Трое уплыли
Далеко на запад,
Далеко на запад,
Где солнце заходит...

Песня длилась, и они дошли до припева, который плескался, будто волны набегает на борт лодочки.

Без толку плакать,
Им в море дорога,
Ведь голод с нуждой
Стоят у порога,
И волны скрежещут и стонут.

Очень по-гилмартиновски. И совершенно не по-айрдейловски. Немыслимо для семьи Халла из Караула Сиу. Петь за столом! Петь нежно и трогательно. Несомненно, это еще большее преступление против хорошего вкуса, чем поставить локти на стол.

– Я ее сто лет не слышал, – сказал Родри, вытирая глаза. – Спасибо, Вина. Спасибо, Минни. Огромное спасибо.

Минни хихикнула и покраснела. Она постоянно хихикала и краснела. Миссис Гилмартин улыбнулась, и я вдруг увидел, что притянуло их с мужем друг к другу: их объединила музыка, эта сирена, которая постоянно заманивает людей на скалы неудачных браков.

– Пожалуй, я буду звать тебя Пайк, – сказал Брокки. – Не можем же мы так и звать друг друга Халла и Гилмартин, как будто мы до сих пор в школе. Имя Пайк тебе очень подходит.

И впрямь, с тех пор я для своих немногочисленных друзей стал Пайком.

15

Лето пробегало почти незаметно. Как часто бывает с летними днями в юности, я не припомню ни одного пасмурного. Я остался в чопорном старом Солтертоне, привечаемый, хоть и очень по-разному, Айрдейлами и Гилмартинами. Я поближе узнал отца Чарли – он показался мне весьма эксцентричным, ибо поведал, что, собираясь в любую поездку, даже на одну ночь, первым делом укладывает в чемодан огромный греческий словарь Лидделла и Скотта – вдруг понадобится проверить склонение слова. В моих глазах он стал человечнее. Греческие и римские классики были не просто программой, которую он преподавал студентам и редкому аспиранту, желающему посвятить жизнь науке; они были страстью мистера Айрдейла, а мне всегда нравились люди, питающие страсть к чему-либо. Разве без помощи классиков он выжил бы в осаде у безупречного вкуса своей жены? А так, я думаю, он созерцал Вкус платонически – как нечто имеющее отношение к миру чувств, но не существующее в мире мысли.

Я остался, предположительно, готовить Чарли к переэкзаменовке на осень. Если осенью он умудрится пересдать проваленные экзамены на сносную оценку, то ему откроется путь в университет. Мы зубрили химию, физику, алгебру и геометрию – самые упрощенные азы этих наук, Бог свидетель, – и мне великими усилиями удавалось хоть что-то вдалбливать Чарли. Но залитый солнцем сад – не самое удачное место для нудной зубрежки. Мы слишком много времени тратили на болтовню, и Чарли преподавал мне азы теологии, которую объявил царицей наук. Логика его изложения совершала кенгуриные прыжки, а вместо доводов он использовал волнующую риторику. Я протестовал. Он не обращал внимания на мои протесты. Но ему удалось меня убедить, что это тоже мир мысли, только другой, и даже посеять у меня в мозгах кое-какие мучительные сомнения по поводу логики и разума, которые я считал единственными возможными подходами к важным вопросам.

– Сведи все к этому, – сказал Чарли, – и твой мир рассыплется в прах.

Безверье наш век свело
К полнейшему умалению —
Лучше блуждающий огонек,
Чем вовсе без освещения²¹.

– Кто это сказал? – спросил я.

– Эмили Дикинсон, если уж тебе непременно нужно знать. Хватит требовать ссылок на великих мудрецов и атрибутирования каждой цитаты. Я полагаю, ты этого набрался в «Сент-Хелен».

– Ну хорошо, если тебя устраивают блуждающие огоньки, это твое дело. Но я предпочитаю...

– И не надо стараться победить в каждом споре. Просто слушай и давай кое-чему отложиться в голове. Перестань рваться к победе; просто сиди в потоке слов и жди – вдруг что-нибудь да усвоится.

– Но, Чарли, я пытаюсь вбить тебе в голову азы, которые коренятся в доказанных фактах. Если бы все думали, как ты, то алгебра, геометрия, физика и химия... как ты там сказал... рассыпались бы в прах.

– О, какое это было бы счастье, – сказал он.

²¹ Эмили Дикинсон, стихотворение 1551. Цитируется перевод Александра Грибанова.

– Послушай... Мы пытаемся пропихнуть тебя в университет. Хотя в какой-нибудь. Если ты хочешь быть священником, других вариантов у тебя нету. Так что будь хорошим мальчиком и старайся усваивать материал.

И мы продолжали зубрить. Это было несправедливо: я по-настоящему сочувствовал его устремлениям, а он иногда обращался со мной так, словно я враг, тиранящий его какими-то пошлыми мелочами. Еще он иногда прибегал к нечестному приему: принимал ужасно больной и усталый вид, словно я требовал от него нечеловеческих усилий. Брокки никак не помогал. Если он присутствовал на уроках, то при каждом споре начинал кидаться из стороны в сторону, то презрительно называя мировоззрение Чарли поповскими сказками и лапшой на уши, то обращаясь ко мне как к твердолобому зануде, ставящему превыше всего азы науки и арифметику для младенцев, – хотя, Бог свидетель, я не такой. Чтобы побольнее уязвить меня, он цитировал Йейтса:

Ум умаляющий, враждебный, приземленный,
Какого не бывает у святых
И пьяниц... —

и уверял меня, что это самое лучшее описание такого презренного ума, как мой.

– Впрочем, если ты собираешься отпиливать людям ноги, то, наверно, такой ум тебе как раз подходит.

Это меня неизменно бесило, и порой казалось, что мы вот-вот поссоримся всерьез.

Но мог ли я на него сердиться, если он так откровенно рассказывал мне – с красноречием, которое было его наследством и талантом, – о трудностях своей семьи?

– Раскол прошел по самой середине, – рассказывал он. – В романах семьи распадаются, потому что люди не могут договориться по поводу секса. Родители такие викторианцы в душе, вряд ли секс стоял у них в списке первым номером. Это вопрос верности...

– Неужели кто-то из них изменяет другому? – удивился я. – Мне показалось, что они очень близки. Я бы сказал, настолько близки, что дальше некуда.

– Речь идет о верности стране, или идее цивилизации, или просто корням. Это гораздо больше, чем личные проблемы, и вместе с тем это глубоко и непоправимо личное. Понимаешь, моя мать – плоть от плоти Нового Света. Она из старой лоялистской семьи, которая бежала из Штатов во время американской революции. Несколько двоюродных дедов погибли, защищая Канаду от янки в тысяча восемьсот двенадцатом году, все дела. Мать попросту никак не связана со Старым Светом. А в той мере, в какой она с ним знакома, она ему не доверяет. Но мой отец – он большую часть своей жизни прожил в Канаде и сделал для нее много хорошего, как и для себя. Но в глубине души он так и не покинул Уэльс. *Hen Wlad fy’Nhadau* – Древняя Отчизна, – она заложена у него в костях, понимаешь? А мать ревнует. Странно, правда, что женщина может ревновать не к другой женщине, запустившей когти в ее мужа, а к стране? Но это так. Она хочет владеть им безраздельно, как и мной, а он не дается. Ты видел, что происходило в последние несколько недель. Он уложил сундуки и упорхнул на Старую Родину, а перед этим слишком подробно объяснял, что должен проверить, как там его дом, как там деревья, которые он посадил, и... Ну, ты сам слышал. Но тяга к родной земле у него в крови, прости за громкие слова. Впрочем, отчего бы не прибегнуть к громким словам, когда имеешь дело с мелодрамой?

– А твоя мать просто не хочет с ним ездить?

– Не может. Ты разве не видишь, как обстоит дело? А еще будущий костоправ. Нет-нет: он швырнул меня матери в качестве утешения. Это я обречен быть навеки прикованным к одной или другой верности. На компромисс надежды нет. А мать настаивает, что не может поехать. С ее астмой морское путешествие ее раздавит, а климат Уэльса – прикончит. Вот и вся история.

– Я попросту не верю.

– Неужели, доктор Халла? Что ж, доктор, у сердца свои резоны, о которых рассудок ничего не знает. Слыхал когда-нибудь такие слова?

– Нет.

– Я так и думал. Это Паскаль.

– Я и про него не слыхал.

– Врун! Но не забывай его слов.

Иногда мне казалось, что Брокки – ровесник моего отца, а то и деда. Он смеялся надо мной за то, что я очаровался Солтертоном. Этот город – во всяком случае, его центральный, старинный квартал – обладал колониальным шармом, напоминающим о конце XVIII – начале XIX века. Красивые, серьезные старые дома, возведенные шотландскими каменщиками, которые всегда работали на совесть; благородные старые вязы; собор с куполом, построенный, чтобы напоминать первым поселенцам о доме; университет Уэверли, чье название напоминает о сэре Вальтере Скотте, а архитектура – о пресвитерианском пиетете перед ученостью. Помимо этих немых свидетельств колониального прошлого, казалось, что сами жители города еще носят в себе колониальный дух. Я никогда не жил за границей, а потому никогда не испытывал подобного. Я решил, что это в самом деле кусочек Старого Света и – по крайней мере частично – земля романтики, куда рвалась душа отца Брокки. Позже я узнал, что это в самом деле кусочек Старого Света, но увиденный через уменьшающее стекло. Как и во многих других местах Канады, здесь царил чеховский дух, кутаясь в настоящее, принимаемое с трудом, и сожалея о прошлом, которого никогда не было. Когда я произнес это вслух, Брокки долго и громко выражал презрение:

– Ты думаешь, у нас тут Кранфорд? Мирок Джейн Остин? Ты думаешь, здесь нет низости и пошлости? Пойдем, я тебе кое-что покажу.

Стоял солнечный июльский день. В распоряжении Брокки была одна из семейных машин, и он усадил Чарли на переднее сиденье, меня – на откидное сзади, и мы помчались к выходу из города, туда, где старый форт поныне сторожит мост через реку, которая в этом месте впадает в озеро Онтарио.

Форт – без единого деревца, раскаленный на летнем солнце – выглядел неприступным: никаких признаков жизни, кроме часового в будке у ворот. Мы подъехали и поставили машину на другой стороне дороги. Часовой в это время вполголоса ссорился с каким-то странным существом: на посту запрещено говорить, разрешается только произносить уставные предупреждения, но этот часовой злился, и мы отчетливо слышали его слова через дорогу:

– Пошла отсюда, ты, сучка чертова! Слышишь? Вали отсюда, или, Христом Богом клянусь, я позову сержанта, и тебя арестуют. Давай-давай, вали!

Но существо не двигалось. Я разглядел его получше и понял, что это девушка лет шестнадцати, а то и моложе. Она была чудовищно грязна, боса и одета в нечто, что можно было бы назвать халатом, не будь оно таким узким и коротким; это одеяние обтягивало ее, отчетливо обрисовывая юную, стройную фигуру. Волосы у нее были длинные и немытые; лицо измазано – похоже, остатками хлеба с вареньем. Ребенок лет двух, одетый не лучше, цеплялся за чересчур короткий подол.

– Ну Джимми, ну миленький. Ну пропусти нас, а? – сказала она, и они снова принялись спорить, если можно назвать спором черную ругань часового и хриплые мольбы девушки.

– Ладно, сволочь, – сказала она наконец. – Но мне надо на что-то жить и что-то жрать. Так что, если мне нельзя внутрь, мать твою, я останусь снаружи, нахер. А ты не смей меня трогать.

Она перешла дорогу, встала совсем рядом с нашей машиной и вдруг завопила – я никак не ожидал услышать такой вопль от такого юного создания:

– Четвертак за перепихон! Четвертак за раз! Идите сюда, елдыри дешевые, дешевле вам все равно никто не даст! Четвертак за перепихон!

Она стояла так близко, что я мог бы ее коснуться. Я испугался, как часто пугаются мужчины шумного проявления женской сексуальности. Чарли побагровел от стыда. Но Брокки покатывался со смеху. Он продекламировал:

– Крик проститутки в час ночной висит проклятьем над страной!²²

Она обрушилась на него:

– Чего орешь, говнюк? Хочешь перепихнуться? Ну-ка покажи, что у тебя в штанах, а то, может, там и нету ничего. Ну-ка!

– Нет, барышня, я просто цитирую нашего старого друга Блейка, – ответил Брокки. – Я тут показываю своим друзьям виды благоуханной старины Солтертона. Как идет торговля? Надеюсь, бойко.

– Завали хлебало, – отозвалась она. – Не надо мне тут ля-ля. Ты хочешь перепихнуться или нет?

К этому времени на шум вышли солдаты и столпились у ворот казармы. Они хохотали и подзуживали девицу.

– Правильно, Мэгги, так его! – крикнул один.

– Эй, Мэг, ты трусы носишь? – крикнул другой.

Мэгги с резким хохотом спикировала на них и задрала подол до пояса. Нет, она не носила трусов.

– Перепихон за четвертак! – завопила она снова.

Брокки воспользовался случаем и тронул машину с места, предоставляя девице разбираться с солдатами.

– Вот, джентльмены, одно из зрелищ, которых вы доселе не видели в Солтертоне. Мэгги – неперемное украшение ворот казармы в хорошую погоду. Можно только предполагать, что она зарабатывает достаточно, чтобы прокормить себя и ребенка. Ее ли это ребенок? Одному Богу известно. Под покровом очарования старины, столь милым вашему сердцу, полным ходом идет перепихон, и крик проститутки ясен и отчетлив.

– Бедняжка, – сказал Чарли. – Мне следовало бы бросить ей доллар.

– Боже упаси! – воскликнул Брокки. – Тогда она будет преследовать тебя до скончания века. Доллар! Да за эти деньги можно с ней попрыгать четыре раза! Из-за тебя поднимутся цены на рынке услуг! Думаешь, тебя в городе не знают в лицо? Что скажет твоя матушка, если однажды ночью Мэгги постучится к вам в дом?

– Какая бездна падения! – Чарли вздрогнул.

– Возможно. А может быть, Мэгги суждена короткая, но нескучная жизнь. Вспомни ее, когда будешь читать про прекрасных благоуханных куртизанок Бальзака или блудниц-святых Достоевского. Мэгги – настоящая. Перепихон за четвертак, и никаких гвоздей.

²² Уильям Блейк. Прорицания невинности. Цитируется по переводу С. Маршака.

16

Я очень многому научился от Брокки. Похоже, его ум оформился гораздо раньше моего. Брокки быстро соображал; я не был тупицей по сравнению с ним, но он видел уголки мира, еще неведомые мне. Например, комиксы.

Я был склонен презирать веселые картинки, как их тогда называли; а вот Брокки их обожал и не пропускал ни единого: «Матт и Джефф», «Мэгги и Джиггс», «Барни Гугл», «Энди Гамп». Он наслаждался фальстафовским бахвальством майора Хупля и иногда вещал голосом майора, как он себе его представлял.

– Если ты слишком утончен, чтобы наслаждаться комиксами, ты слишком утончен, чтобы жить, – говорил он. – Комиксы показывают, что думают люди, которые никогда не читают книг, не слушают проповедей и не ходят голосовать. Значит ли это, что комиксы бесполезны? Ни в коем случае. Веселые картинки показывают мечты и мнения *l'homme moyen sensuel*²³, а если ты хочешь, например, стать политиком, то начинать надо именно с них. Научившись понимать комиксы, закладываешь прочную основу для понимания человечества.

Однажды Брокки взял меня с собой в редакцию газеты, принадлежащей его отцу, и там после краткого разговора с младшим редактором показал мне рельефные картонные формы, розовые, размером с газетную страницу: на них был выдавлен завтрашний комикс. Эти страницы вставляли в машину для изготовления стереотипов, которая отливала на их основе металлические матрицы.

– Вот они, видишь. На каждой – целая неделя смеха и суровой уличной мудрости. Их недаром называют стереотипами: они воплощают в себе то, во что верят или что считают самоочевидным большинство людей. Читатель распознает чужую глупость или непредусмотрительность и гордится, что он гораздо умнее. Когда Матт надевает Джеффу плетельницу на голову, миллионы простых душ испытывают дрожь восторга. Когда Мэгги бьет Джиггса скалкой и у него над головой появляется пузырь с надписью «Ка-БУМ!», у миллиона притерпевшихся друг к другу несчастливых мужей и жен происходит мгновенная разрядка напряжения. И потом, понимаешь, это в самом деле смешно. Не забывай. То, что под пером Софокла могло бы превратиться в трагедию, становится комедией в четырех-пяти кадрах ежедневного комикса. Пока живут смешные картинки, Аристофан не умер до конца.

Интересно, что думает Брокки сегодня – если, конечно, до сих пор читает эти сокровищницы мудрости и убеждений простого народа, какими они стали под воздействием мрачного духа эпохи и под орлиными взорами бдительных читателей, выискивающих преступления против политкорректности?

Возможно, житейская мудрость Брокки сразила бы меня наповал, не будь я почти ежедневным свидетелем того, что казалось мне значительным изъяном в его характере. Брокки сходил с ума по девушке.

В то лето в Солтертоне мы перевидали много девушек. Мы катались по заливу на прогулочных лодках, а иногда на чем-нибудь более впечатляющем, всегда с девушками на борту. Мы ходили на неформальные, импровизированные вечеринки в домах девушек, чьи родители привечали молодых людей или, по крайней мере, удачно притворялись. Иногда мы без особой цели носились по дорогам в машинах, так набитых пассажирами, что девушкам не оставалось никакого, совершенно никакого выхода, кроме как разместиться на коленях у молодых людей. Иногда в темноте эти девушки обнаруживали, что их целуют, и реагировали с той степенью выдержки, на которую были способны. Ибо то были дни абсолютной невинности, с нашей теперешней точки зрения: сексуальные авансы и игры обуздывались страхом «зайти слишком

²³ Обычный человек (фр.).

далеко». Если пара «заходила слишком далеко», это означало позор для девушки и тяжелую, но неизбежную ответственность для юноши – в общем, все, что приносит с собой незаконный ребенок. Впрочем, боже упаси, совершенно законный, ибо в таких случаях немедленно заключался брак. То были браки вдогонку, – по словам остряков, с младенцев, родившихся от такого союза, приходилось стряхивать рис, которым на свадьбе осыпали новобрачных. И, несмотря на строгие правила относительно того, что разрешалось и что запрещалось, дети из хороших семейств Солтертона редко играли в любимую игру Эдду «палец-в-дырку» – вся компания, как тогда было принято писать в светской хронике, увлекательно проводила время.

Иногда случались серьезные романы, и я наблюдал, как зародился и развивался один такой роман – между Брокки, которому только исполнилось девятнадцать, и Джулией Опиц, тогда семнадцатилетней. Джулия показалась мне приятной девушкой, миленькой, с аккуратной фигуркой, хорошо смотревшейся в купальном костюме; она тихо смеялась и умела исторгать поток светской болтовни со вкраплением всевозможных штампов и модных словечек. Поскольку Брокки был ею так околдован, я всмотрелся в нее сам и заключил, что это девушка с инстинктом самосохранения, которая лет через пять превратится в молодую женщину с головой на плечах, владеющую собой. Брокки был без ума от нее, но я видел, что она сохраняет хладнокровие, хотя ей льстило внимание Брокки, беседы с ним и ошарашенное обожание, которое порой светилось у него в глазах.

Конечно, такое случается. В компании наших ровесников, с которыми мы почти ежедневно виделись в Солтертоне – в яхт-клубе или где-нибудь еще, – развивались три или четыре таких романа, но мне кажется, что даже участники самого серьезного из них осознавали где-то в глубине души: эта любовь не навсегда и ею надо наслаждаться, пока она не упорхнула. То был не цинизм, но качество, которое трудно определить, – к нему больше всего подходит устаревшее выражение «житейская сметка». Житейская сметка Брокки явно была в упадке.

Оглядываясь на те дни, я склонен винить мать Брокки, хотя она, так же как и ее сын, действовала под влиянием сил, которых не понимала и не контролировала. Родри, слишком многословно оправдываясь, упаковал дорожные сундуки и уехал в Уэльс, в свой тамошний загородный дом, на десять недель. Мальвина уверяла его, что понимает необходимость этой поездки, – даже настаивала, чтобы он поехал, – но в глубине души сердилась на мужа и чувствовала, что он ее предал. Поэтому, когда ее обожаемый сын начал приводить в гости девушку, в которую явно был влюблен, разъяренный материнский инстинкт объявил войну этой девице; Мальвина и ее верный лейтенант Минни сражались не на жизнь, а на смерть.

Разумеется, не открыто. Но если Брокки уходил на вечер, его бомбардировали вздохами разных калибров; если Джулия приходила в «Сент-Хелен», ее встречали натянутыми улыбками и холодными взглядами; если Брокки поздно возвращался домой, матери становилось «худо», а если Брокки спрашивал, можно ли привести Джулию на ужин перед походом в кино, следовала небольшая пауза и лишь потом согласие. Мальвина не говорила и не делала ничего явно, но отчетливо давала понять, что Джулия для нее – тяжелое бремя, но она мать и, конечно, будет нести это бремя, если сын настаивает.

Тетя Минни не владела подобным искусством. Она попросту спрашивала Джулию, умеет ли та пришивать пуговицы, или думала вслух – не мерзнет ли Джулия в своих чересчур легких летних платьицах. И еще Минни умела сверлить взглядом. Она при этом улыбалась, но глаза ее были как буравчики. А иногда, если Джулия употребляла в разговоре жаргонные словечки или вела себя с неподобающим оживлением (в понятиях тети Минни), та едва заметно отворачивалась и восклицала себе под нос: «О боже!»

Брокки все это замечал. Точнее, чтобы такого не замечать, нужна носорожья шкура, а он был тонкокож, как подобает влюбленному. Все это толкнуло его искать в Джулии то, чего он не находил в сокрушительной женственности матери, а его неприязнь к Минни, которая

умудрилась устроить себе приступ прямо за столом в присутствии Джулии, стала положительно ядовитой.

Теперь я понимаю, до чего это древняя драма, но тогда она оказалась для меня в новинку, и мне было неловко – мне казалось, что мой друг ведет себя как осел.

Моим прибежищем был Чарли. Я выбивался из сил, наставляя его в отвратительных для него науках. Осенью мои усилия увенчались наградой – Чарли кое-как сдал все нужное. И еще случилось чудо – из Колборна пришло письмо, извещение, что Чарли вышел лучшим по истории во всей школе. Теперь ему было чем помахать перед носом приемной комиссии.

В середине августа мне пришлось вернуться в Караул Сиу. Мои родители проявили просто ангельское терпение, и я знал, что они хотят побыть со мной хоть немного, прежде чем я уеду в Торонто учиться в университете. На прощание Чарли подарил мне свой экземпляр «Religio Medici»²⁴ сэра Томаса Брауна.

– Обязательно прочитай ее, – сказал он. – И обязательно перечитывай. Это прямо по твоей линии, и ты станешь таким врачом, каким был старик Браун. Чего я хотел бы для тебя... Я буду молиться, чтобы это было послано тебе как знак Божьего благословения – чтобы ты, как Браун, мог «назвать себя почетным именем христианина». Пожалуйста, постарайся.

В волнующий час разлуки – что я мог на это ответить?

– Чарли, я постараюсь. Честно.

Тогда я говорил искренне. В юности мы часто говорим искренне, но с годами наша позиция очень сильно меняется.

Итак, я уехал. Я вернулся в Караул Сиу и на протяжении последующих шести лет видел Брокки нечасто, а Чарли вообще не видел, ибо пылкую юность формует и охлаждает пресс обстоятельств.

²⁴ «Религия врача» (лат.).

II

Я собирался сделать всего лишь несколько кратких записей, отделяя то, что можно рассказать Эсме, от всего, что я знаю о Чарли и о происшествии в храме Святого Айдана, но, похоже, заметки плавно перешли в полноценные мемуары. Продолжать ли? Да, я буду продолжать – хотя бы некоторое время, ведь Эсме обещает возобновить атаку, как только разберется с какой-то другой работой, более срочной.

Почему я говорю «атаку»? Эсме не нападает на меня. Она весьма деликатна – насколько это возможно для журналиста. Вероятно, я чувствую в глубине души, что она нападает на кого-то. На Чарли, разумеется, но с какой стати мне защищать Чарли? Из верности другу, с которым я когда-то был близок, но потом жизнь развела нас?

Я часто имею дело с пациентами, почти болезненно скрытными: они обороняют то, что не нуждается в обороне, держат в секрете что-нибудь совершенно неважное и будто наслаждаются, отвечая «нет». Может, я тоже таким становлюсь? Что такое есть в Эсме, из-за чего я моментально принимаю защитную стойку? Ее несомненная привлекательность? Тот факт, что теперь она замужем за моим крестным сыном, Коннором Гилмартинном, и, как это ни глупо, мне кажется, что она вторглась в семью Гилмартин, в которой я занимаю одно отчетливое место и другое – призрачное? Может, у меня начинается запор, как у моих пациентов, страдающих излишним педантизмом? Кажется, да. Следует ли мне воспользоваться советом, который я сам даю в таких случаях, и не прибегать к слабительным, а вместо этого заглянуть к себе в душу в поисках причины, по которой организм не желает расставаться с отработанным материалом? Именно это я советую пациентам. Врачу, исцелился сам.

Я пишу в медицинском журнале – красивой книге в кожаном переплете. Я купил ее давно, когда только занялся частной практикой и собирался заполнить журнал записями о своей работе. Глупец! Я скоро узнал, что современный врач должен держать картотеку (тогда) и компьютер (сейчас), если справляется сам, или секретаршу, которая разбирается в современных технологиях. Моя секретарша и по совместительству медсестра, миссис Кристофферсон, не желает иметь дело с записями от руки. Поэтому в моем красивом журнале всего две или три старые записи, а все остальные страницы девственно-чисты. Но они не пропадут. Я стану сам себе пациентом. «Врачу...» и так далее. Пей лекарство, которое сам прописываешь.

1

Пять лет, проведенные в Колборне, почти превратили меня в городского жителя, по крайней мере внешне; утонченного, по крайней мере в моем собственном представлении. Но Караул Сиу по-прежнему был моим раем, моей родиной – духовной и телесной. Путешествуя из Солтертона домой в конце этого лета, которое открыло мне глаза и заставило повзрослеть, я, вероятно, думал о Карауле Сиу немножко свысока – ведь он больше ничему не мог меня научить. Я чувствовал себя взрослым.

Мне кажется, люди взрослеют скачками, а не постепенно. В Колборне я начинал новичком, зеленым, как все новички, а к концу учебы стал активистом – высочайшее звание после префекта, – редактором школьного журнала, заядлым курильщиком (пять или даже шесть сигарет в день, когда стресс от редакционных забот становился невыносимым), членом клуба «Отбой», светским человеком и значительной персоной, перед которой новички благоговели. Я также был образцовым хозяином: помогал своей шестерке с уроками и не давал обнагнать. В школе я был значительной личностью.

Лето в Солтертоне в каком-то смысле снова свело меня в разряд новичков. Например, с точки зрения родителей.

Меня поразила прохлада отношений в семье Айрдейлов. Именно прохлада; ни в коем случае не холод. Но Чарли и его родители, казалось, общаются почти на равных. Его мать была с ним вежлива. Со мной тоже. Она всегда называла меня по фамилии, на школьный манер. Моя мать тоже была со мной вежлива, конечно, но совершенно по-другому: она звала меня Джон и ей не пришлось бы в голову интересоваться моим мнением по какому бы то ни было вопросу. Мать командовала мной – не то чтобы тиранила, но обращалась со мной так, словно мне десять лет. Вообще, мне кажется, в представлении матери я навсегда остался четырнадцатилетним. Отец Чарли перечислял его карманные деньги на банковский счет, и Чарли мог тратить их, как хотел. Ему давали на карманные расходы гораздо больше, чем мне, хотя мои родители, я уверен, были гораздо богаче родителей Чарли. Он сам покупал себе одежду, и родители никогда не критиковали стиль и фасон; моя же одежда покупалась, предположительно, под присмотром отца, но выбирала ее на самом деле мать, поэтому я, как правило, выглядел так, словно одевался в чужое: моей одежде не разрешалось говорить то, что я хотел сказать о себе сам, – она должна была выражать мнение тех, кто старше и умнее меня. Чарли уже смотрелся как мужчина, а я по временам осознавал, что выгляжу уродливым созданием, «растущим мальчиком», хотя уже почти перестал расти. Когда Чарли делали важную операцию, решение принимал он сам, хотя, конечно, обсуждал вопрос с родителями. Все это меня удивляло. Чарли уже спустили с привязи, на которой до сих пор держали меня. Но теперь я знаю, что в моем доме были теплота и забота, которых не хватало в доме Айрдейлов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.